

# Колхозник Филя



Александр Бганцев

# **Александр Витальевич Бганцев**

## **Колхозник Филя**

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=67162365](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=67162365)*

*SelfPub; 2024*

### **Аннотация**

На фоне жизненных ситуаций в семье агронома колхоза конца 60-х годов 20 века делается попытка дать психологическое объяснение некоторым порокам взрослых, разрушающим устои семьи, негативно влияющим на психику детей, и, в конце концов, отравляющим жизнь себе и близким. Также судьбе советского тракториста – бывшего военнопленного в Германии, противопоставляется жизненная драма итальянского солдата, оказавшегося в советском плену и работавшего одно время в колхозе, – что, тем самым, как-то объясняет характеры. Помимо этого, в книге есть место юмору, показаны нравы того времени.

# Содержание

Глава 1	4
Глава 2	13
Глава 3	34
Глава 4	52
Глава 5	62
Глава 6	70
Глава 7.	75
Глава 8	81

# Александр Бганцев

## Колхозник Филя

### Глава 1

– Фирма горы-ы-ть!!!.. – что есть мочи кричал разнорабочий МТФ-1 Иван Марченко с крутого бугра, откуда нежившееся в весеннем тепле село было видно как на ладони.

– Фирма горы-ы-ть!!!..

Ни дать ни взять, какой-то злой рок витал в конце 60-х годов 20 века над передовым колхозом «П...» Нехаевского района Волгоградской области, где прочным костяком были потомки давних малороссийских переселенцев.

Через год, знойным летним днем, – с выносного двигателя вдруг запылала утопавшая в желтом пухе опилок колхозная пилорама; сгорела дотла, со всей древесиной и оборудовани-ем. Огонь пытались затушить, передавая от ближайшей колонки по цепочке ведра с водой, – но все тщетно. Сын директора школы, десятиклассник, на виду у всех геройски пробился к горящему мотору и плеснул ведро воды прямо в топливный бак, – но в ответ, словно злой джин, упрямо взметнулся шипящий столп пламени, едва не поглотив смельчака.

Следующим в эту тесную очередь губительной напасти судьба негостеприимно поставила завернувшего в хозяйство

с демонстрационным визитом доселе невиданного стального богатыря: новенький чудо – трактор «Кировец»; его серая «шаровая» краска еще источала свежий запах. И по злой иронии судьбы сгорел этот новоявленный покоритель степей, уныло зияя обуглившимися зубьями решетки радиатора, также средь бела дня, на глазах у многочисленных зевак, и аккурат напротив правления колхоза.

В отчаянии парторг даже начал подозревать, не живут ли где-то поблизости ведьмы, а потому выдвинул идею засадить центр села осинами.

Между тем, черный осадок пожарищ постепенно развеялся ветром новых трудовых свершений, и с утра октября месяца 8-го числа 1969г. в местном Доме культуры, как и прежде, состоялось торжественное собрание по случаю Дня работников сельского хозяйства (кто боится огня, – тревоги напрасны: в этот раз, слава Богу, все обошлось без пожара).

Председатель колхоза, – невысокий и справный, будто одетый в цивильный костюм пестун, – с бурой трибуны из покрытой лаком фанеры гулко тараторил дежурный доклад про растущую урожайность, внушительные привесы, солидные надои и прочие угодные крестьянскому слуху достижения. В ту же пору колхозники, двигая от нетерпения ногами, ерзали на дерматиновых сиденьях нового, с дощатым под уклон полом, кинозала в ожидании финала этой нудной асамблеи.

Спустя какое-то время, – одним оно показалось вечно-

стью, другие же, – особенно, кто сидел рядом с молодыми на вид колхозницами, – напротив, даже сожалели, что так скоро закончился его ход, – но, как бы там ни было, наконец, – к радости первых и пушей досаде вторых, – прозвучало: «на этом официальная часть закончена». Председатель, поставив на попу стопку листов доклада, напоследок, – как «аминь» после проповеди, – облегченно стукнул ею по трибуне, зал одобрительно загудел, раздались громкие аплодисменты, – то ли в одобрение доклада, то ли в честь его долгожданного окончания, – и полусонные колхозники жадно потянулись к выходу. Некоторые счастливики под завистливые взгляды совали в самые потаенные закоулки карманов заслуженно полученные денежные премии; другие, выйдя в фойе, с радостным интересом вертели в руках ценные подарки: престижные фотоаппараты «Зоркий», электробритвы «Харьков» или радиоприемники ВЭФ.

По укоренившейся традиции выехали в Панский лес, прилепившийся сбоку к селу густым зеленым крылом, – на скрытую от глаз широкую поляну. К всеобщей радости, колхоз не поскупился даже на дубовую бочку пива, до которого многие селяне, особенно молодежь, были большие охотники.

И тут, пожалуй, сами собой бегут на ум меткие слова Гоголя, что в старину любили хорошенько поесть, еще лучше любили попить, а еще лучше любили повеселиться. Оттого, видно, разом и во всю ширь своих мехов заиграли в том ле-

су две гармошки; расторопные доярки, недолго думая, живо сложили под ближайшим дубком свои почетные грамоты, да и пустились за компанию с телятницами в залихватский пляс на прохладной примятой траве, игриво махая платочками и кокетливо мелькая своими разноцветными платьями.

Механизаторы, сияя бронзовыми лицами, охотно закусывали и с восторгом аплодировали: интер-ресно девки пляшут!..

Члены правления тоже закусывали, и с таинственными улыбками переглядывались. Хорошо же отдыхать в зеленом лесу да на свежем воздухе после трудов праведных!

Где-то после третьей-четвертой то ли конюх, то ли учетчик (а они оба, выпив водки, могли, хоть вместе хоть каждый в отдельности, взять самую низкую октаву, – поэтому нельзя угадать с точностью, кто это был сейчас из них именно), – затянул громовым басом бессмертное «Распрягайте, хлопцы, коней!..» Этой заповкой про казака, во внеурочный час взявшего, как это ни поразительно, в руки заступ да инициативно отправившегося рыть колодец, был как бы пущен сигнал, что народное гуляние привычно свернуло в ту накатанную колею, когда все вдруг раскрепощаются, постылая иерархия чиновничества сама собой рушится, хлебопашцы да скотники обращаются политиками и стратегами, начинается живое непринужденное общение, в том числе по вопросам международного урегулирования (в этот раз, кстати, Никсон единодушно был признан фигурой значительного масштаба, а

Мао цзе Дун – так себе... ни пава ни ворон).

Кто был в ссоре – мирились, кто был дружен – начинали по пустякам ссориться.

Поэтому главный агроном колхоза Владимир Петрович, – известный любитель всегда и в любой обстановке выпить (невозможно представить ситуацию, чтобы на предложение вырвать из бутылки с корнем пробку он сказал категорическое «нет»), – нисколько ни удивился, когда к нему, усердно сопя, будто ночной еж, с опущенной головой и затухшей папиросой «Беломор» в зубах молчаливо подсел тракторист Михальчук.

Это был среднего роста смуглый жилистый мужчина на вид лет 45-50, несколько сутулый, но широкий в кости, ядрено надушенный одеколоном «Шипр», и с мрачным как у носорога взглядом. На нем был черный поношенный костюм, белая нейлоновая рубашка с воротником «на выпуск», на голове – новая темная кепка с еще не вынутой картонной вставкой, на поясе – узкий кожаный ремень, по краям которого во всю длину тянулись две тоненькие белые полоски, а на золотистой прямоугольной пряжке – изящная вставка под малахит. На ногах – черные кожаные полуботинки со шнурками, на левой руке с темными от никотина пальцами – часы «ЗиМ» на кожаном ремешке и с растрескавшимся, будто мартовский лед, стеклом.

– А-а-а, – Семен!.. здорово-здорово!.. как дела? – дружелюбно спросил агроном.



– Да, ничего, Петрович, – твоими молитвами... это... давай отойдем, что ли...

– Может, выпьешь сто грамм?.. – из приличия спросил агроном, манерно потянувшись за початой, в темно-зеленом стекле, бутылкой «Московской» и напустив при этом такое выражение лица, которым собеседнику тактично сигнализируют дать отрицательный ответ.

– Не, – потом... – вяло махнул рукой сверху – вниз сообразительный Михальчук, и начал зачем-то шарить ладонью по траве, будто что-то потерял.

Агроном кинул на скатерть-самобранку с вожденной выпивкой досадный взгляд, грустно крякнул и, – словно навеки прощался с закадычным другом, – в расстроенных чувствах поднял свое грузное тело.

Медленно покачиваясь, они, каждый по-своему задумчив, побрели в сторону леса, обходя с разных краев живую, будто муравейник, кучку колхозных шоферов – отчаянных заводил, балагуров и острословов; те травили анекдоты.

– Едут, значит, в купе поезда 3 ответственных партийных работника, а с ними – Ваня, – простой колхозный шофер. И, вот, эта номенклатурная троица начинает, понимаешь, перед работягой манерничать: «Я свою жену с детьми на лето в Сочи отправил!.. Я – в Пицунду... А я – в Гагры...», – и с ехидными улыбками поглядывают на Ваню: давай, мол, – твоя очередь!.. А тот помолчал-помолчал, да спокойно так и говорит: «А я свою – сам... ну, вобщем, – сам с ней сплю...»

– Ха-ха-ха!!!.. – О- го-го!.. – И-хи-хи-хи-хи!!!..

– Стой, стой!.. а кто знает, что общего между беременной студенткой – первокурсницей и автомобилем «Запорожец»?..

– ???..

– И то и другое – горе в семье!

– Ха-ха-ха!!!.. – О – го-го!.. – И-хи-хи-хи-хи!!!.. – катались по траве в беззаботном смехе обмякшие шоферы.

– Эй, вы, – кончайте там азартные игры! – колхозный парторг заметил, как шесть механизаторов, сдвинув на клеенке закуску и дымя папиросами, – 1-я бригада против 2-й, – начали рубиться в карты.

– Да какие тут «азартные игры», Антонович?!.. – в «дурака» играем, – чтоб окончательно выяснить, кто умнее! – ответил за всех наблюдавший за игрой электрик Бондаренко, на всю емкость заряженный шутками и прибаутками долговязый мужчина лет 30-ти, обладатель курчавой, будто моток проволоки, рыжей шевелюры и такого же оттенка усов, в разноцветном свитере и с цепким, как у рыси, взором. – Ну, а в шахматы, хоть, можно?.. – с хитрецей спросил он у парторга, не выпуская изо рта сигарету, и с видом ушлого картежника, который до верного придерживает козырного туза.

– Ну, в шахматы – везде и всегда можно. Тебе ж подарили – вот, и обнови; да научи, кто не умеет! – поучительно, и в то же время раскованно, ответил парторг.

– Ой, Антонович!.. и кто только умудрился такому мараз-

му?!.. – начал сокрушаться Бондаренко, говоря при этом нарочито выразительно и с расстановкой, будто давно ждал такого момента. – Детям в пионерском лагере в карты – нельзя; ээкам в лагере – нельзя; в самолете – нельзя; в подводной лодке – нельзя; в санатории – нельзя... Да, неужто, мы в эти вот благородные шахматы, – Бондаренко артистично возвысил голос, приподнял двумя руками до уровня лица новенькую клетчатую доску, и потрянул ею так, что фигуры внутри загремели, словно высыпанные булыжники, – не можем на деньги або стакан водки сыграть, коли захотим?.. и ты, Антонович, – резко понизив тон, более дружелюбно продолжал электрик, – заодно со всем своим партбюро будешь думать, что мы тут королевским гамбитом свой моральный облик облагораживаем... вот тебе и "азартные игры", – глупее не придумать... – добавил он несколько тише, и как бы в расчёте на поддержку товарищей.

Парторг быстро сообразил, что его публично положили на идеологические лопатки, – поэтому не стал дерзать тщетных попыток вломиться в амбицию, а благоразумно сделал вид, что не расслышал и, обреченно махнув рукой, с наигранным равнодушием отвернулся.

Дунул бодрящий ветерок, зашевелил опавшие листья и пожухлую траву; редкие осины в ответ покорно задрожали своим нарядом из червонного золота. Повеяло мягкой лесной прелостью вперемешку со свежим грибным ароматом. В глубине леса неутомимый дятел сухо и резво выбивал

свою монотонную дробь. Лениво каркали редкие вороны, бесцельно бороздящие студеное воздушное пространство.

– «Под железный звон кольчуги, под железный звон кольчуги, – на коня верхом садясь...» – страстно выводила коленца захмелевшая молодежь, став в кружок и руками изображая энергичные толчки, подтанцовывая при этом чем-то вроде модного твиста.

– «...Зачем он в наш колхоз приехал, зачем нарушил мой покой?!...» – где-то в стороне мастерски сажала сладкие ноты более возрастная и консервативная овощеводческая бригада.

«Тра-та-та-та...» – вторил ей неугомонный дятел.

Когда отошли на приличное расстояние, Семен, опустив глаза в землю, на удивление спокойно, будто всего лишь прошил закурить, произнес:

– Петрович, ты знаешь, – прости... но, ведь, я тебя хотел прибить... – сняв кепку, он провел ладонью ото лба к затылку, словно хотел причесаться, и поднял на агронома ничего не выражающие глаза.

От такой неожиданности Владимир Петрович растерянно улыбался, и не знал, что ответить, – словно потерял дар своей речи...

## Глава 2

Пока же Владимир Петрович в молчаливой растерянности стоит и собирается с мыслями, – мы тем временем заговорим немного о нем самом.

Ему было 33 года, высок, упитан, с крупными, но, в то же время, недурными чертами лица. Правда, его несколько портили покатые плечи, но все равно из-за своей в целом представительной наружности он пользовался неизменным успехом среди женщин, – хотя никогда и не носил усов. Если бы вы случайно встретили его на улице, то, наверняка, обратили бы на него свое внимание, а, может быть, даже попросили табака или на худой конец задали вопрос, который час.

Давно был женат, имел троих детей: два сына-школьника и маленькая дочь.

В свое время окончил сельхозинститут, имел комсомольское прошлое, состоял в партии, был прекрасным специалистом своего дела.

Однако, стартовавшая ракетой карьера Владимира Петровича (после института – секретарь райкома комсомола; затем, – в 26 лет! – председатель колхоза) в какой-то момент резко притормозилась, – будто вошедший в плотные слои земной атмосферы метеорит, – из-за его скандальной страсти к слабому полу, и что более существенно, – к выпивке, откуда, как известно, прямая дорога к декадансу. Он и сам

не заметил, как безнадежно увяз в этой трясине разгульной жизни, – словно кролик в кольцах удава.

Поэтому на одном месте долго не задерживался: год-два – и его жена Зоя снова паковала нехитрый скарб. За четыре года он сменил три колхоза.

К тому же, эту досадную нестабильность усугублял заносчивый, но, вместе с тем, вялый характер Владимира Петровича; у него все как-то не получалось ладить с начальством. Он как бы по инерции продолжал мнить себя при дворянских высоких должностях, – в то время как по вышеупомянутым причинам личного свойства его карьерный поезд давно скрылся за очередным поворотом судьбы, и на деле, когда вновь открывались его пороки, с ним переставали всерьез считаться даже на колхозном уровне. То есть, он жил в некоем мире амбициозных надежд и иллюзий, на которых в реальности им же самим любовно взращенный зеленый змий давно поставил жирный крест. Но Владимир Петрович никак не хотел с этим мириться и, вместо того чтобы быть покладистым, упрямо и без нужды дерзил начальству: да, вы меня плохо знаете!.. вы де обо мне еще услышите!.. мы с вами еще кое – где встретимся!.. – и многозначительно кивал в ту сторону, где находился далекий областной центр...

Многие замечали, что ему во всем не хватало разумной гибкости. Его в этой части по-свойски не раз пытался «вразумить» дед Евгенийч, прошедший войну маленький сухой старичок, с огромной лысой головой, закончивший 4 класса

церковно – приходской школы, всю сознательную жизнь работавший счетоводом, рассудительный и спокойный, – муж родной тетки его жены.

– Володя, ну, вот, ты, – как главный агроном, – скажем, остановил комбайнера, едущего прямо на своем «СК-4» ночью с молотьбы домой на отдых. Заглядываешь как бы невзначай в бункер, – а в нем он везет себе центнеров пять невыгруженной пшеницы, – так?.. Что ты ему скажешь?..

– Как – что?!.. – без раздумий запальчиво отвечал Владимир Петрович, – скажу: «А, ну, голубчик, поворачивай оглобли, – на ток, – выгружай народное добро! Еще раз поймаю – под суд отдам!»

– Ох, Володя... – отвечал Евгеньич тоном врача, сообщающего безнадежному пациенту его неутешительный диагноз. – Не знаешь ты истин жизни, – вот в чем твоя беда!.. Когда же ты уму наберешься?.. Слушай и запоминай, как должен поступить мудрый руководитель! – ты скажи ему вот что: «Давай-ка, братец, вези эту пшеницу – выгружай мне во двор, – а себе еще украдешь...» – это будет тебе чем-то вроде руги, – уяснил суть?..

– Ну, Евгеньич... нас такому не учили...

– Да никто тебя в институте или парткомитете жизни и не научит!.. – эти университеты можно лишь годами бок – о – бок с людьми в общественном труде постигнуть. Коли нет, – так и будешь ты, ученый агроном, в обнимку со своей порядочностью до конца жизни копейки считать. А неучи, – ко-

торые понаглей да с хваткой, – не в пример тебе как сырки в масле будут кататься, без нужды и покаяния, – сказал Евгений с видом экзорциста, тщетно пытающегося изгнать бесов из одержимого. – Ты, вот, скажи: все ли зерно, что колхоз намолотит, – дойдет до государственных закромов?.. ничего не пропадет?.. Свалили зерно в бурты, – даже крытых токов нету: дождь, как обычно... – что дальше?..

– Горит, иной раз, конечно...

– А почему? – да потому, что нет единого хозяина этого добра, – разве бы он позволил?.. а так, – сотни тонн актом спишут, – как не бывало. А за ними – труд сотен работяг, колоссальные ресурсы, – это не преступление?.. – то-то, братец мой, такое похуже воровства. Тысячу тонн! – в одном только колхозе, – к чертям собачьим!.. Ты же грамотный, посчитай, – Евгений сделал тугое, насколько позволял его хилый организм, ударение на последнем слове и, чуть придвинувшись к собеседнику, склонил набок свою лысую голову, – сколько это получается в масштабах всего государства?.. – вот, и я – о том же. А ты сколько себе утащишь?.. тебе-то и надо: кур было бы чем кормить, да муки смолоть, – чтоб жена детям пирожков напекла. Учти свои трудодни, что ты как колхозник еще и натурой получишь, – тебе боле тонны сверху и не надо. Так, что, Володя, коли сгребут в канаву то зерно, что ты заставишь выгрузить комбайнера, – будет правильной, по-твоему?.. – Евгений, как бы зная заранее правильный, на его взгляд, ответ, вопросительно и с тревожной



усмешкой посмотрел в глаза Владимиру Петровичу.

– Да, понятно, Евгенийч, – непорядок получается... – искренне соглашался агроном. – Но не могу я во-ро-вать, не умею, – хоть убей ты меня!.. не мо-ё это, – понимаешь?!.. – продолжал он громче и нараспев, весь раскрасневшись, и не понять, то ли от злобы на себя, то ли просто от чрезмерного физического усердия. – И никогда не буду... – будто с обидой на себя добавил Владимир Петрович.

– Жить ты не умеешь, – а не «воровать»... – как бы подытожил Евгенийч. – Пойми, Володя, – я тоже воровства или еще чего плохого не пропагандирую. Я лишь хочу, чтоб все было по уму – по разуму, с большей для людей пользой; да и государству легче было бы – меньше очереди в магазинах. Жизнь, – ее, брат, не всегда в букву закона угораздишь, и в ней всегда есть свобода усмотрения; надо уметь лавировать, или, как говорил Ленин, – «быть диалектиком». Да и Библия такое плутовство поощряет, ибо Сказано: «приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители», в Евангелии от Луки, – Евгенийч кивнул на стол, где лежала старая потрепанная книга Нового завета, – так-то, Володя...

– Да, небось, это надо толковать как-то иначе, – не сдавался Владимир Петрович. – Я что, научный атеизм не изучал?.. в этой Библии что ни строчка – загадка, – поди, разберись нам, партийным... да я и не верю в бога, я – атеист.

– Не знаю, Володя, – что там кто и как толкует, – я тебе

читаю так, как написано. А что касается «не верю», – так это демагогия. Ибо каждый человек в своего бога верит, – не важного в какого: Христа, Аллаха или Будду... А кто-то – в науку верит, другой – в силу характера, третий – в космические ракеты... да, во что угодно – все верующие!.. ты, вот, – в коммунизм веришь, – так? значит, и ты – верующий!..

– Ха!.. – усмехнулся Владимир Петрович. – А сколько таких, что ни в бога, ни в черта, ни в коммунизм, – ни во что не верят!

– А потому как они верят, что верить не во что, – то и эти будут истинно верующие, Володя...

На том они и расстались – каждый при своем мнении.

Владимир Петрович жил с семьей в двух смежных комнатах половины нового, но небольшого компактного колхозного дома.

В первой комнате, в правом от входа углу, были умывальник, неказистый шкаф со всякой кухонной утварью, от которого вечно пахло плесенью, и зимой под ним водились мыши. Дальше, у окна, – обеденный стол, табуретки; затем в углу, вдоль стены поперек – железная кровать, на которой вместе спали оба сына; слева от входа в дальнем углу – грубка и кухонный стол.

Из этой комнаты, посередине между кроватью и печкой, был дверной проем во вторую комнату, которая была значительно больше первой. В ней справа от входа в углу стояла железная кровать, где спала их маленькая дочка; дальше

– диван, старомодный, но новый английский шкаф со стеклянной дверцей по всей высоте, в углу на тумбочке – радио-ла, рядом – этажерка с фигурными стойками; следом между окнами – комод, на который младший сын пролил чернила; и затем, в углу, вторая кровать, на которой спали Владимир Петрович с Зоей; там же, ближе к двери, – шифоньер; посередине комнаты – круглый стол и четыре основательных деревянных стула с высокими спинками.

Всю эту мебель, за исключением железных кроватей, для них из дерева смастерил своими руками отец Владимира Петровича, – Петр Гаврилович, мастер – самоучка, который без натуги мог сработать все, что твоей душе угодно: хоть прялку, хоть бочку, хоть шифоньер, – да хоть чёрта на колесиках, – лишь скажи, с рогами или без. Особенно красив был комод, украшенный на лицевой стороне выточенными на токарном станке и покрытыми черным лаком замысловатыми фигурами в старинном стиле.

В двух комнатах, одна из которых фактически представляла собой миниатюрную кухню, – им, впятером, было, конечно, тесновато; и это подогревало внутрисемейные страсти.

Другая половина дома почти все время и невесть отчего пустовала, но Владимир Петрович никак не мог добиться, чтобы колхоз дал ему в пользование весь этот дом целиком, – это что его жена Зоя (о ней речь пойдет ниже) методично и беспощадно пилила.

Летом Владимир Петрович ездил по полям на казенном мотоцикле «ИЖ-56» без коляски. Но иногда председатель, если был в хорошем настроении (а это, правда, случалось крайне редко), доверял ему вечно находящийся в ремонте белый автомобиль «Москвич».

Так, вот, Владимир Петрович мог запросто в жаркий рабочий день, – объехав гектары и найдя ход дел удовлетворительным, – смотаться на своем железном коне в приграничный поселок Манино соседней Воронежской области, – опрокинуть в местном злачном заведении кружечку-другую пива.

Иной раз он ради конспирации, дабы отвести ненужные подозрения и запутать недоброжелателей, – позволял себе такие вояжи в противоположном направлении – за 40 километров в Урюпинск, где на прохладном берегу Хопра, под сенью плачущих ив, – в отличие от Манино, – к янтарному «Жигулевскому» частенько предлагали не брынзу, а отваренных с укропом раков.

Оттуда он привозил услышанные за пивным столиком новые байки, которые потом вечерами обожал пересказывать дома семье у керосиновой лампы в моменты непредвиденного отключения электроэнергии. Например, как «этой весной» в станице Усть-Бузулукской на Хопре рулевой парома в процессе причаливания к берегу, когда народ от нетерпения отследить швартовку по обыкновению сбился в ее фокусе плотной кучей, раздраженно крикнул из рубки по громкого-

ворителю какому-то невзрачному гражданину в сером плаще и шляпе, закрывшему обзор: «Эй, ты, ... [*весьма нелитературный термин*] в шляпе, – отойди от кнехтов!!!..» Каково же было всеобщее удивление, когда обернувшийся на окрик явился 1-м секретарем райкома партии Михеевым... Грубияна приказано было уволить, однако после длительных поисков замены выяснилось, что закрывать вакансию паромщика решительно некем, народно-хозяйственные грузоперевозки оказались под угрозой срыва, – поэтому он, не будучи прощенным, так и остался крутить штурвал до следующего половодья. А эти его слова, глубоко укоренившись в местном фольклоре, на долгие годы стали расхожей фразой; случись вам теперь зайти в этой станице в ремонтную мастерскую или на молочно – товарную ферму, непременно услышите промеж работников: «...отойди от кнехтов!..» Дабы не остаться в долгу и не прослыть бирюком, Владимир Петрович охотно рассказывал новым знакомцам свои истории, – чаще всего вот эти. Однажды в каком-то хуторе или станице некий хорошо известный в местных кругах субъект неопределенного рода занятий и образа жизни по кличке «Бравый» случайно набрел в пыльных кленовых кустах на троих знакомых, только что начавших разливать по стаканам водку. – Налейте, братцы, – говорит, – все пересохло, трубы горят, неважно. – Нет, – отвечают друзья, – иди себе с богом, нам и самим мало. «Бравый» не сдаётся, начинает взывать к гуманизму христианской морали. А те как бы ради шуточки: –

Хрен с тобой, нальем, – но с одним уговором: видишь, – вон, земляная жаба сидит?.. – Вижу, – говорит, – тут она, под веткой. – Ну, так если голову ей откусишь, – немедля 50 грамм и получишь. «Бравый», конечно, не мог промотать такого шанса: молниеносным аспидом вцепился в пупырчатую жабу, и твердой рукой поднес ее к своим небритым щекам. Амфибия доверчиво вперила в него свои огромные желто-агатовые зенки... но тут вдруг раздался хруст костей... собутыльники, будто обыватели на Болотной площади в момент казни Емельяна Пугачева, в ужасе с выдохом дернули головами вниз и в сторону, – и обезглавленный труп раврака, брыкнув напоследок миниатюрными ластами, полетел в одну сторону, а выплюнутая голова – в другую... – Наливай!.. – нарушил тягостное молчание «Бравый», и по-хозяйски протянулся за стаканом...

Конечно, наиболее дальновидные читатели, – а к таковым можно причислить любого, кто имел крепкого терпения дочитать до сего места, – наверняка не поверят, чтоб такой колоритный персонаж как "Бравый" не оставил после себя других неразрывно связанных с его образом сюжетов, – и будут правы. Потому, если бы мы попросили Владимира Петровича (а для пушей гарантии налили ему хотя бы 50 грамм), – он, наверняка, охотно рассказал бы еще, – к примеру, такое (в подлинности сего решительно нет никаких сомнений; если же на предыдущие хроники есть надежные свидетели, то в этом случае, скажу вам по секрету, в архивах существует да-

же надлежащее медицинское заключение, – на которое, в силу строгой врачебной тайны мы, к сожалению, не можем сослаться в конкретном виде; однако, обо всем – по порядку). То ли в Великий четверг, то ли в Страстную пятницу, – за давностию лет точно сказать затруднительно, – но бесспорно одно: напился «Бравый» опять до пороссячего визгу. По-над плетнями, через колдобины, спотыкаясь и падая, – добрался с грехом пополам до своего жилища. Тем временем, жена его убирала скотину. – А ну, – говорит ей, – сейчас же подай что-либо на ужин – мру с голоду!.. – В хате в печи – чугунок со щами! жри – не подавись, скотина пьяная!.. навязался ты на мою голову, когда только сдохнешь?!.. – коротко, но с чувством ответила супруга. «Бравый» с равнодушной покорностью выслушал эти откровенные пожелания своей половины, и для начала решил сосредоточиться на поисках выключателя. «Знаю, – говорит, – что он вот тут был, – за дверью... лап – лап, – нету!.. пропал, хоть ты тресни!..» Нащупал в потемках рогац, осторожно так, – как сапер мину, – подцепил чугунок: «кабы не расплескать!..» А жена там же, в печи, но в другом чугуне, варила помои свиньям: последних дней смывки с грязных кастрюль и тарелок, куриные кишки вперемешку с рыбьими внутренностями, что со сковородки отодрала пригоревшее недельной давности, забродившие простокваша, красноглазые головы селёдки, гнилые яблоки, яичная скорлупа, картофельные очистки, отруби, – вполне обычный для такого назначения склад. «Бравый», не мудре-

но, чугунок-то перепутал: вместо щей налили себе полную чашку помоев. Для аппетита стручочек красного перца размял, сметанкой забелил... – всю чашку навернул, косточки обсосал: «Да, и ядрёные же щи!..» – и лег, довольный, спать. Ночью стал его чуточку желудок беспокоить... короче, две недели в больнице повалялся, – отошёл. Снова – как огурчик...

Одним словом, Владимир Петрович всегда старался сочетать приятное с полезным, и никогда не упускал случая воспользоваться преимуществами разъездного характера своей работы.

Как-то летним днем его жена Зоя копалась в палисаднике со своими любимыми алыми гладиолусами, когда услышала приближающийся знакомый рокот мотоцикла: «Ну, на обед... пойду щи разогреть» – подумала она, и, вытирая платком с лица пот, направилась было в чулан к керогазу. Каково же было ее удивление, когда, обернувшись, увидела – её ждет необычный сюрприз: Владимир Петрович явился не один – за его спиной на широком сиденье мотоцикла в игривом легоньком платье раскованно сидела местная школьная учительница немецкого языка Вера Семеновна Зубкова, – статная, но незамужняя дама лет 30-ти с хвостиком...

– Здравствуйте, Зоя Даниловна!.. – с мягкой учтивостью обратилась к ней интеллигентная пассажирка, не слезая с тархтящего мотоцикла и держась одной рукой за её мужа. – Знаете, мне давно интересна профессия агронома... Вы не



возражаете, если я в этих целях проеду с Владимиром Петровичем по полям?..

Зоя от такой смелости на мгновение растерялась, – хотя сама по натуре была не из робкого десятка, и за словом в карман никогда не лезла.

– Да-да, конечно... – машинально выдавила она из себя с кислой улыбкой. – Что ж... поезжайте... – последнее слово далось ей с трудом, и как бы с многозначительным ироничным оттенком (Зоя обожала ироничные оттенки).

Тут же полными оборотами радостно взревел железный конь, – Владимир Петрович, пожертвовав вкусным обедом, не мешкая, – пока жена не опомнилась, – дал газу, и, круто развернув, погнал так, что с него чуть не слетела шляпа (ее одной рукой заботливо поправила Вера Семеновна).

Ошеломленной Зое, постепенно приходящей в себя и начинающей сознавать, насколько дерзко и ловко провели её вокруг пальца, оставалось лишь тоскливо наблюдать вослед убегающему мотоциклу, как края недлинного ситцевого платья учительницы восторженно трепетали на ветру, обнажая ее крутые коленки...

Без водки жизнь для Владимира Петровича, казалось, теряла всякий смысл. Например, по выходным, если он с утра был дома без желанного виновкушения, – не находил себе места, из рук у него все валилось, глаза бегали, лицо корчилось печатью страдальческих гримас. И в такие трагические эпизоды на него, – словно плачущего на паперти Бо-

жьего храма, – без искреннего сочувствия и глубочайшего скорбления души смотреть было невозможно.

– Зоя, дай «троячок», – полечиться... – начинал он жалобно канючить у жены денег.

Она, зная наперед эти разорительные для семейного бюджета потребности, ему, как правило, отказывала, – и тогда он добивался своего не мытьем, так катаньем.

С лукавой улыбкой вырывал из школьной тетрадки листок бумаги, доставал авторучку, и синими чернилами, своим изящным каллиграфическим почерком, писал записку продавщице магазина продовольственных товаров, с которой давно и предусмотрительно наладил тесный неформальный контакт: «Нина, до зарплаты – 1 «Московской» (гордость сельского интеллигента не позволяла ему прямо сказать «дай»); а в конце, после даты, – словно генерал-губернатор, – ставил свою эффектную подпись, натренированную еще со студенческой поры. Затем он звал, как наиболее ответственного, младшего сына-школьника Кольку, заговорщически подмигнув, совал ему в руки заветную петицию, для надлежащей конспирации снабжал кирзовой хозяйственной сумкой, и, – напутственно похлопав по тщедушному плечу, – отправлял малолетнего гонца за вожденной бутылкой водки.

Выпив граненый стакан, – криво поморщившись, словно его принуждали к чему-то непотребному, и закусив чем придется, – на короткое время Владимир Петрович снова как

бы принимал человеческий облик: его лицо разглаживалось, глаза наполнялись смыслом, и теперь в нем невозможно было найти какого-либо изъяну.

После второго он впадал в мягкую сентиментальность, давал волю чувствам, и в нем даже как бы просыпалось что-то человеческое. То есть, при нем обнаруживался какой-то непонятный изгиб души. Вытирая с внешних уголков своих глаз белый налет, всякий раз появлявшийся там, когда Владимир Петрович был под парами, – он заботливо интересовался у сыновей (чего с ним никогда не случалось в минуты трезвости), не хуже ли других они одеты, кто у них лучший ученик в классе, – а потом в сотый раз принимался наставлять: младшему после школы надлежит поступить в военно-финансовое училище, а старшему – в военное автомобильное. Хотя, скорее это было не истинной заботой о детях, а всего лишь словоблудием пьяного отца.

Ну, а вишенкой на этом торте хмельного куража был третий стакан.

Владимир Петрович шаткой походкой направлялся к стоявшей в углу комнаты радиоле «Sakta», поднимал, роняя 2-3 раза, крышку, ставил, царапая иглой поверхность, любимую пластинку на 45 оборотов с фокстротом «Липси», – и пускался в бесшабашный пляс: будто лыжник, энергично работая локтями и украшая эти танцевальные движения неуклюжим топотом своих толстых ног...

Повидавшие жизнь давно заметили, – пусть это звучит и

чересчур категорично, – что люди в их манерах после крепкой выпивки делятся на 2 сорта: 1) ложатся спать; 2) становятся дураками.

К счастью для его семьи (если только здесь уместно говорить о «счастье»), Владимир Петрович никогда не буянил, если был сильно пьян, его быстро клонило ко сну, и он мгновенно засыпал, осеняя пространство редким по зычности храпом, – будто по стиральной доске кто-то водит напильником. При этом, – что необычно, – его дыхание замирало почти на минуту, словно он нырял в бездну, – затем, как бы очнувшись, он начинал жадно и тяжело дышать, через некоторое время успокаивался, – а потом снова и снова так продолжалось до тех пор, пока не протрезвеет и не проснется.

Сыновья по ночам, не в состоянии от этого уснуть, даже со страхом прислушивались – жив он или мертв, вынырнет или нет, и мысленно считали, сколько же секунд максимально их отец может лежать бездыханным.

Несколько раз он, будучи еле можаху, попадал в переделки, едва не стоившие ему жизни, – что вряд ли сочтешь удивительным. К примеру, в ту же весну обнаружилось, что Владимиру Петровичу «на выход» нечего, собственно говоря, надеть: как-то незаметно поизносился до неприличия. С трудом выкроив из скудного семейного бюджета необходимую сумму, ему на радость всей семьи справили новый румынский костюм элегантного фасона. Обновить этот цивильный прикид было решено 9 мая, на праздничный митинг в день

Победы. С утра его жена Зоя, любуясь на мужа в белой рубашке и новом костюме, повязала ему серый в красную полосу галстук, нежно подала шляпу, на прощание поцеловала, – и уверенный в себе Владимир Петрович, как это всегда чувствует себя человек в добротном модном платье, широкой поступью отправился на торжественное мероприятие.

Когда вернулся на обед, то мимоходом сказал жене, что после работы задержится: узким мужским составом правления колхоза они решили отметить праздник, выехав на «козлик» (ГАЗ-69) в Круглый лес, что в километре от села.

Эти небольшие заросли дуба, березы и осины были примечательны тем, что располагались на бугре в небольшом округлом провале, а живописности этому урочищу добавлял сравнительно большой пруд как бы в форме груши Дули. Он глубоко вдавался своим долгим «хвостиком» прямо в середину леса, где теперь местами виднелись белые цветущие кусты боярышника, словно зима забыла там кучи снега. Причем, один берег у истока водоема был достаточно крутой и высокий, и с него к воде свисали ветви редких божественных лип.

Уже начало вечереть, – но Владимир Петрович домой все не возвращался. Стемнело. На улице – хоть глаз выколи, несмотря, что небо было звездным, – а педантичная Луна ни за что не хотела выползть на свою орбиту раньше, чем под утро, – у нее, видите ли, строгое вселенское расписание. Зоя, уложив детей, легла спать сама, но все крутилась с правого

бока на левый да обратно, и не могла никак уснуть, ибо в ее голове роилась всякая чертовщина. То ей мерещилось, будто колхозные собутыльники изувечили мужа в пьяной драке, то чудилось, что ихний старый «козел» опрокинулся вверх резиновыми копытами и полетел, отбросив все три карданных вала, в глубокий овраг...

Владимир Петрович вернулся за полночь, немножко задержавшись в чулане, и лег в кровать весь какой-то липкий как после дождя, не говоря уже о том, что, конечно, был в крепком кураже, и, что необычно, – весьма немногословным.

Поскольку состояние мужа показалось ей очень подозрительным, а сам он мама-папа выговорить не мог, Зоя встала и вышла в чулан, – где босыми ногами сразу натолкнулась в темноте на что-то мягкое и влажное. Она включила свет, и тут же в страхе отпрянула назад, гулко стукнувшись затылком о полузакрытую дверь комнаты... Перед ней на полу лежала безобразная куча какого-то грязного мокрого тряпья, в котором она с гневным ужасом начала признавать то, что еще утром было новым импортным костюмом...

Как потом, виновато – смущенно улыбаясь, рассказал сам Владимир Петрович, с ним приключилось вот что. В какой-то момент выездного банкета, когда вместе с закадычной подружкой тишиною на землю опустилась густая темнота, а сверчки тут же наперебой стали выводить задушевные рулады, затеял он освежиться лесной прогулкой. Недол-

го думая, направил свои нетвердые стопы туда, куда глядели слипавшиеся глаза, утратившие к тому часу всякий контакт с разумом. Вдруг, хватаясь для равновесия левою рукою за ветки, увидел он по правую руку и как бы далеко внизу – таинственные звезды... В тот же миг, сорвавшись, кубарем полетел в своем новом темно-синем скафандре прямо в объятия этого загадочного космоса, – который хоть и подарил некие ощущения невесомости, но в конечном итоге оказался ни чем иным как тем самым прудом в форме Дули. Тем не менее, эта внезапно свалившаяся на Владимира Петровича опасность придала ему духу и даже частицу давно неостребованного мужества. Будучи отличным пловцом, – где саженками, где брассом, – конечно же, временами демократично отдыхая на спине, – он, вспугнув напоследок стаю пролетных уток, пересек – таки коварную водную преграду; на четвереньках, то и дело путаясь в галстукe, скверно поминая черта и призывая всех святых, выбрался на противоположный берег, где тут же пал ниц, дабы отдышаться. Хоть он и не был зоотехником, но по специфическому запаху под носом понял, что сюда на водопой приходили коровы. Поскольку вода была еще достаточно студеной, и к той минуте не к месту начал дуть бодрящий ночной бриз, – весь мокрый, без шляпы, покрытый мерзким скользким илом, – он достаточно быстро начал вновь обретать крупичицы разума. А когда, оставляя за собой длинный мокрый след, он с опущенными руками взошел на плотину, – где немного обтёк, –

по белеющим справа цементным блокам нового коровника и манящим огням села внизу окончательно сориентировал свой дальнейший маршрут.

Что же до того, как именно Владимир Петрович дошел до своей хаты, – по оврагу напрямик через сады или же, что более вероятно, спустился на главную улицу от мельницы, – этого знать нельзя, ибо сам он об этом ничего не рассказывал, а кто-то другой, по всей видимости, свидетелем этому не был. Единственным его скупым дополнением к рассказу было про испуг: как сначала подумал, – угодил в колодец...

Зимой же для разъездов по колхозным делам Владимиру Петровичу выделяли запряженных в сани пару добрых черных коней.

Но после работы, темными зимними вечерами, ему иной раз было лень самому отгонять их в конюшню, – а это километра полтора от дома в одну сторону, на бугре, за селом, – да потом еще идти оттуда пешком в кромешной тьме по морозному снегу. Поэтому он, приехав домой, частенько поручал это неблагодарное дело все тому же младшему, 10 – летнему сыну – третьекласснику: «Колька, а, ну-ка, – отгони коней!.. да, не забудь, распряги!..»

Тот безропотно надевал свои подшитые валенки, к которым привязывал коньки-снегурки на время хоккейных сражений, потрепанную в жестоких битвах на снежных городках ватную фуфайку с отвисшими карманами, нахлобучивал треух, – и, усевшись в тяжелые сани, гнал лошадей в ко-



нюшню. Кони, екая селезенками, шли бодрой рысью, – словно знали, что и для них трудовой день окончен; из-под копыт в глаза Кольке летел едкий снег вперемешку с запахом конского пота, громыхающие сани, будто парусник в шторм, со скрежетом водило из стороны в сторону, – но он уверенно сдерживал своими детскими руками разошедшихся вороных: «А, ну, полегче, окаянные!..» – и даже вставлял услышанные от взрослых слова, за которые школьников обычно ругают.

Подогнав к конюшне, Колька, начиная с первого попавшегося ремня, в темноте, как мог, распрягал коней, заводил их в стойло, бросал охапку сена, – а затем, сунув в карманы одетые в варежки руки и надвинув трех по самые глаза, возвращался темной морозной ночью домой, ориентируясь на отдаленный свет и лай собак.

## Глава 3

Жена Владимира Петровича – Зоя, с которой он был знаком еще со школьной скамьи, – не работала, занималась детьми да домашним хозяйством. При этом, поскольку их большая семья постоянно нуждалась в деньгах, Зоя тоже пыталась что-то заработать своим трудом: скажем, выстрачивала на «подольской» швейной машинке замысловатые узоры с прорезями на подзорах и белых ситцевых занавесках для окон, которые продавала по 5 рублей за комплект.

В молодости была недурна собой: небольшого роста, стройна, на небольшом круглом лице изогнутыми дужками красовались черные брови, русые волосы уложены на затылке в модную тогда корзинку. Но самым удивительным в ее облике были большие зеленые глаза в уникальную коричневую крапинку. Что бы они ни выражали – гнев, тоску, равнодушие, – это было всегда сильно и впечатляюще; в их бездонной глубине таилась какая-то неведомая сила, она как бы гипнотизировала визави. Зоя знала такое, и при необходимости пользовалась этим своим природным даром сполна.

Но третьи роды весьма скверно отразились на ее привлекательной внешности: она быстро начала полнеть, все прежде замечательные черты как бы вытянулись или растворились, и в последнее время Зоя своим видом больше напоминала милый деревянный бочонок, который, пошарив ру-

кой в мешке, по обыкновению тащат во время игры в лото.

В их семье всем, словно боцман на палубе, заправляла она же: властная, энергичная, хваткая, начитанная (у изголовья ее кровати всегда лежал какой – нибудь роман: не «Буйные травы», так «Великий Моурави»), имевшая врожденный талант организатора и лидера.

Когда Зоя просыпалась, первой ее мыслью было: кого бы и как озадачить новыми поручениями, – которых ее творческий ум, будто генератор повышенной мощности, на ходу выдавал с большим избытком, хоть на весь колхоз. Ее сыновья, – в то время как их сверстники летом беззаботно носились по улице, – шалить не изволили: один, к примеру, имел наряд до полудня выкопать за сараями яму, а другой – до захода солнца ее же тщательно закопать.

Но превыше всего Зоя ценила миг, когда она могла делать кому-нибудь внушения. В такие счастливые для нее минуты ей и самой начинало казаться, что именно в этом есть ее судьбой уготованное предназначение и смысл ее земного существования. Если детей под рукой не было, – не беда! – она могла, скажем, через штакетник переключить свой взор на улицу... так, ага, – идут трое старшеклассников, балагурят, один при этом жует ломоть хлеба. И, вот, он, не подозревая, что за ним пристально наблюдает пара бдительных глаз, легкомысленно подбрасывает недоеденный кусок, и молодецки ударяет по нему, будто по футбольному мячу, ногой...

– И что же это ты такое вытворяешь?!.. – тут же из-за забо-

ра раздается в его адрес назидательная укоризна. – И как же это тебе не стыдно, а?.. – для пущей убедительности Зоя смело открывает калитку, и, опираясь на узловатый черенок мотыги, делает решительный шаг вперед. – И кто же так с хлебом поступает?!.. – ее пухлая рука с вытянутым в шило тоненьким указательным пальцем делает уничтожающий жест и, наконец, смачно пригвозждает адресата к позорному столбу. – Бессовестный!.. неужто, вас такому в школе учат?!..

Трудно с определенностью сказать, случайность это или нет, – но даже их корова «Зорька» была на ту же статью: вечером с выгона шла непременно во главе стада.

Одним словом, родись Зоя эпохой раньше, – наверняка, и сам надменный император Наполеон, от природы обладавший даром одним своим взором обращать в прах любого, – что пешего что конного, – не избежал бы позорной участи смиренно выслушать ее критические замечания на предмет выявленных недостатков в его полководческом искусстве. А закончи вуз – сделала бы головокружительную карьеру.

Как бы там ни было, Зоя, нащупав однажды рыхлость воли Владимира Петровича, голыми руками смогла взять его в оборот, и крепко держала в своих руках вожжи семейного управления. Подобно купринской Шурочке, она искусно, хотя и не всегда с пользой для семьи, дергала мужа за ниточки, которыми на свой адат направляла его поведение, в т.ч. на работе.

Однако, на свою беду (а, может быть, и на горе всей се-

ми), Зоя была из той породы женщин, что люто ревнуют мужей по поводу и без повода, доводя тем самым себя до «белого каления». Она имела неутолимую жажду выискивать доказательства неверности мужа, – сама толком не понимая, для чего это делает. А порой прибегала к изощренным средствам экзаменовки супруга, на которые не у каждой женщины хватит фантазии и характера.

Так, еще в начальный период их совместной жизни, Владимир Петрович повадился, как хорек в курятник, к охоте на водоплавающую дичь. Почти каждый осенний вечер после работы он, забыв про ужин, хватал ружье и мчался на колхозном «бобике» к ближайшей музге в пойме речки, – отстоять вечернюю зорьку. Но, поскольку зачастую не привозил оттуда ни кряквы ни шилохвости, сетуя на досадную осечку или неудачный выстрел, – в Зою вселился червь мстительного сомнения. Воспользовавшись как-то отсутствием мужа, она взяла отвертку и скрутила с ненавистного ей ружья курки. Ее замысел был прост, как все гениальное: если муж вернется с охоты и начнет сокрушаться, что опять де промазал, – она тут же достанет из комода курки и скажет: «как же ты стрелял-то без курков?.. где был?.. – говори!..» Ничего не подозревающий Владимир Петрович, как обычно, вечером машинально сорвал со стены двустволку, схватил патронташ и, бросив на ходу, что он – «не долго», – чуть не побежал к «бобику», подталкиваемый в спину злорадным взором супруги. Добравшись до музги, он в болотных сапогах по или-

стому дну минут тридцать продирался через чакан к любимой заводи, где на поверхности воды то тут, то там виднелись изогнутые, – словно Буратино рассыпал из азбуки запятые, – утиные перья. Крикнув для порядка «здесь стою!» и получив в ответ приятную слуху любого охотника тишину, Владимир Петрович, не отрывая зорких глаз от заводи, переломил двустволку, на ощупь зарядил ее патронами в латунных гильзах с дробью №4, замкнул стволы, – и, затаившись, стал ждать. Внутри что-то неведомое сладко чесало незримым перышком все содержимое организма, особенно в нижней его части. Прошел почти час. Начало темнеть. Чу! – неслышная и невидимая доселе в сумерках пара уток, как всегда неожиданно, – плюхнулась в воду, оставив после себя расходящиеся круги. Вот они зашли на ту часть зеркала воды, где в отражении зари их темные силуэты, оставляющие на воде длинный расходящийся след, были четко различимы; каких-то 25 метров... сердце охотника забилося в буйном экстазе: «пора!..» – Владимир Петрович выждал, когда утки почти сошлись в одну цель, – одним выстрелом двух! – привычно надавил большим пальцем правой руки туда, где должна была быть твердая рифленая поверхность курка... что такое?! – палец, не встретив никакой преграды, резко шмыгнул вниз... Владимир Петрович в недоумении поднес ружье вплотную к глазам, и с ужасом увидел пустое место, где должны были быть курки... Первая мысль – потерял; но потом догадался, что это – проделки жены. Однако, вернув-

шись расстроенным домой, Владимир Петрович с обидно – мечтательной улыбкой, – с которой ата-темен рассказывал, как его кнутом выпорол лично великий Хан Батый, – сказал Зое всего лишь: «И что же ты наделала?..» – но после этого происшествия как-то остыл к охоте, и ружье много лет висело у него не чищенным без проку, разрушаясь внутренними каналами стволов.

Рассказывали, как однажды в компании Зоя, заподозрив любимого супруга в излишках внимания к соседке по застолью, мстительно вонзила в его дебелую спину никелированную вилку... четыре дырки, из которых дружными фонтанчиками брызнула алая кровь, тут же протерли водкой, а закусывавший напротив фельдшер авторитетно заверил: жизненно важные органы не задеты – жить будет.

На этот счет она даже частенько спорила с умудренной жизненным опытом соседкой Евдокией, которая была гораздо старше её по возрасту.

– Зоя, ну, хорошо, – подловишь ты его, – и что же будет дальше?.. – убеждала Евдокия. – Уйдешь от него?.. или тебе легче станет?..

– Да, нет, Дуся, – не уйду... Куда я – с тремя детьми?.. и легче, конечно, не будет... наоборот, буду переживать... – грустно отвечала Зоя.

– Ну, так и зачем тогда себя изводишь?.. не надо тогда и выискивать!..

Однако, Зоя ничего не могла поделать со своей натурой,

вечно пребывала в нервном состоянии, страдала экземой, и понапрасну срывала свою грешную злобу на сыновей, охаживая их ремнем направо и налево; да так увлекалась, что те уже начинали сомневаться в истинности народной поговорки «рука матери высоко поднимается, да не больно бьет».

Где-то она читала, что «чаще всего дурное настроение происходит от внутренней досады на собственное несовершенство, от недовольства самим собой, неизбежно связанного с завистью, которую, в свою очередь, разжигает нелепое тщеславие». Однако Зоя была убеждена, что ее случай – исключение, и она, в отличие от других, – не причина, – но жертва чужих недостатков. А крайними почти всегда оказывались ее же сыновья: «У людей дети – как дети!.. а вы, непутевые, навязались на мою шею!..» – и ребятишки начинали даже чувствовать что-то наподобие угрызений совести за то, что они по собственной воле дерзнули явиться в этот мир, и теперь своим порочным существованием так досаждают своему родителю...

Так или иначе, однажды Зою вдруг осенило народной мудростью: ха! – а клин-то – клином вышибают! Глаша – я – растеряша, – очки ищу, а они у меня – на лбу!.. И она решила мстить мужу тем же. Тем более, Владимир Петрович почему-то был уверен, что его Зоя на такое неспособна, и такие шалости – исключительно его как мужика судьбой уготованное предназначенье.

Как-то раз, когда в компании у соседей отмечали то ли



23 февраля то ли 8 марта, он, – будучи к тому времени уже крепко выпивши, – вдруг с негодованием заметил, как Зоя почему-то сидит за столом рядом с шофером-молоковозом Устином Дроботенко, и подозрительно мило о чем-то с ним болтает...

Через несколько минут они уже были дома.

– Надо ж, – подседа, – а?!.. ты, погляди!.. – в ревнивом бешенстве горланил побагровевший Владимир Петрович, меряя широкой поступью диаметр вокруг стола, и размахивая своими толстыми потными руками; при этом случайно зацепил громоздкий деревянный стул, – мебель загремела, проснулись дети.

– Да ничего я не «подседа»... это... просто разговаривали... ой, что-то мне плохо!.. Володя, пошли за фельдшером (видимо, Зоя решила, что в такой ситуации фельдшер, – тоже подходящий вариант)...

– Пло-о-хо ей!.. нашла к кому подсесть!.. да ты знаешь, что этот Устин всех доярок на ферме пере...!.. а она – к нему!.. во, дура, а?!.. – погляди!..

Зоя картинно упала спиной на запроваленную железную кровать, – сетка со скрипом закачалась, сложенные стопкой три подушки свалились, – раскинула руки и, закатив глаза, поворачивая голову то влево, то вправо, – продолжала стелать:

– Ой, плохо мне!.. куда мы едем?.. в гору не надо – я боюсь!.. ой!.. Володя! – за фельдшером... за фельдшером...

мне плохо...

Зоя точно знала: тонкие душевные струны Владимира Петровича, на которых она так любила поигрывать, лежат совсем неглубоко, и она снова без труда может их задеть.

– Колька! – неожиданно коротким голосом позвал расстроженный Владимир Петрович младшего. – Быстрее одевайся, беги за фельдшером Ломакиным!.. маме плохо, скажи...

– Пап, не давай больше маме водки пить!.. а, может, ей полегчает?.. – Колька кивнул на беспечно тикающие часы, стоявшие на комодe. – Вон, уже 2 часа ночи...

Ему не хотелось идти морозной теменью за полтора километра к фельдшеру. Колька каким-то шестым чувством понимал, что это всего лишь некий пьяный каприз, – но в силу своего детского разума не мог распознать его природу. Кроме того, вся семья медика наверняка уже спала, надо будет стучаться, будить, объяснять, что маме после гулянки плохо... а младшая дочка фельдшера, рыжая улыбчивая Наташка, училась с ним, Колькой, в одном классе; завтра они встретятся на уроках, – и ему было очень стыдно...

– Нет, иди-иди!.. скорей!.. ты видишь, мама бредит, – она же умереть может!.. – чуть не плача уговаривал Владимир Петрович сына.

– А зачем ты ей тогда разрешаешь пить, – если она от этого умереть может?..

– Детки, всё!.. – это было в последний раз!.. – Владимир Петрович грешником на исповеди клятвенно скрестил ру-

ки на потной раскрасневшейся груди, и закатил полусонные глаза.

– А ты так говорил и в прошлый раз...

– Всё, детки, клянусь вам: больше ей – ни капли!.. Ну, давай, сынок, – быстрее, иди-иди!..

Колька знал, что это – лишь слова, и скоро все повторится.

Он нехотя оделся, и, сопровождаемый их рыжим коротконогим псом Шариком, послушно заскрипел валенками по снежному коленкору центральной улицы. Было морозно, безветренно, пустынно и тихо. Лишь кое-где в отдалении лениво брехали собаки. Ночь выдалась темной, потому как ущербная Луна опять надолго застряла в рогах упрямого Козерога, веками мечущегося между Стрельцом и Водолеем, – а тот выпускал ее на короткую небесную прогулку лишь поутру. За Селену отдувались звезды: не давая скучать путнику, они всей гурьбой весело подмигивали в студеном небе своими искрами, – а навстречу им из печных труб тесно стоящих домов проворный дым азартно сверлил ночную мглу длинными седыми буравчиками.

Минут через 20 Колька остановился у дома фельдшера. В окнах было темно – все спали. Сгорая от стыда, он поднялся на крыльцо и несмело стал стучать костяшкой пальца в синюю дощатую дверь, – боясь, что окно от стука может треснуть на морозе. Затем он спустился с крыльца на снег, и стал ждать, сунув руки в карманы и зачем – то пиная носком валенка мерзлую землю.

Вышел фельдшер, – без шапки, в трусах, в валенках на босу ногу, и в фуфайке на голое тело, которую в обхват крест – на – крест придерживал руками, – отчего, будучи и так высокого росту, он, стоя на крыльце, словно памятник на постаменте, – казался великаном.

– Здравствуйте, дядя Петя... – пряча глаза, с трудом выдал из себя Колька. – Маме плохо... помогите...

Через несколько минут фельдшер вышел с потертой коричневой балеткой в руке.

– Ну, пойдём... – многозначительно вздохнул Ломакин. – А что случилось-то?..

– Да, они с гулянки пришли немного пьяные... маме плохо стало...

– Ну, ясно... – ответил фельдшер, словно шахматист, который просчитал наперед все ходы противника. Несколько минут они шли молча. Колька почему-то начал вспоминать, как Ломакин в медпункте, где вдоль стен стояли стеклянные на металлическом каркасе шкафы и пахло микстурами, – делал их классу всякие уколы – прививки.

Чтобы разрядить неловкость, Колька набрался смелости и робко спросил:

– Дядя Петя, а когда люди пьют водку и становятся потом сильно пьяные, они могут не захотеть ее пить больше, чем нужно?

– Ну, брат, это ты задал нелегкий вопрос ... – немного помолчав, задумчиво ответил фельдшер. – Трудно сказать –

«да» или «нет». Вот, смотри: например, у вас в классе кто-то хорошо учится, а кто-то – плохо, у одних примерное поведение, а другие – хулиганят. А почему так, – как думаешь?..

Колька смущенно заулыбался, так как был хорошим учеником; он с гордым видом поправил свою шапку-ушанку на белом каракулевом меху и с темно – бордовым кожаным верхом, которую ему подарил дед год назад, – и после некоторого раздумья ответил:

– Ну, наверное, одни добросовестные ученики, а другие – нет; одни каждый день полностью готовят уроки, а другие – ленятся, не доделывают...

– Да, это, дружок, ты мне говоришь то же самое, о чем я тебя спрашивал... – засмеялся Ломакин, перекладывая из одной руки в другой свой чемоданчик. – Так, а почему, все-таки: одни добросовестные ученики, а другие – нет?..

– Наверное, дядя Петя, просто одни чуть-чуть умнее других... – растерянно и с ноткой испуга ответил Колька, боясь, что сказал что-то крамольное.

Тем временем, они перешли через деревянный мост, соединяющий недалекие берега промерзшей до дна речушки. Из ближайшей подворотни выскочил невнятной породы черный цуцик, и, суетливо бегая из стороны в сторону, яростно залаял. В ответ Шарик на одном им понятном языке что-то прогавкал, будто сообщил часовому пароль, – и все успокоилось.

– Другими словами, Коля, – продолжал фельдшер, – одно-

му дано быть хорошим учеником, а другому, – как он ни старайся, – вряд ли. Это называется – природа. Так и с водкой. Кто-то выпил стакан – другой, и говорит себе: «все, пожалуй, хватит, – больше не надо», – и поставил рюмку в сторону. А другой и рад бы остановиться, – да не в силах, пока все, что перед собой видит, не выпьет, либо не свалится замертво. Не могут остановиться, потому что природой им, в отличие от других, не заложено некоего барьера, через который они не могли бы переступить, – то есть, не могли бы выпить больше, чем следовало бы. И это, Коля, – скорее от судьбы врожденная неизлечимая болезнь, – нежели дело воли. Хотя, и она, конечно, играет некоторую роль, – особенно когда человек решает: а стоит ли вообще начинать сегодня пить. И более емко, чем писатель Чехов, тут, Коля, не скажешь: «многих способных людей погубила эта страсть, между тем как при воздержании они, может быть, могли бы со временем сделаться высокопоставленными людьми», – понимаешь?..

– Да, дядя Петя! – понимаю!.. – с готовностью закричал Колька веселым голосом. – Я, когда вырасту, – если буду пить вино или водку, – никогда не сопьюсь и не буду пьяницей! – с уверенностью добавил Колька.

Ломакин недоверчиво усмехнулся.

– И почему ты знаешь, что не сопьешься?..

– Не знаю, дядя Петя... – задумчиво ответил Колька. – Но я знаю точно, что не буду пьяницей. Зачем напиваться, чтоб аж падать с ног, и чтобы люди над тобой смеялись?.. а еще

мне даже запах водки не нравится, мне от него противно...

– Ну, уже – молодец, коли хотя бы думаешь так... и курить не будешь?..

– А я, дядя Петя, еще в первом классе курить бросил...  
Фельдшер засмеялся.

– Ну, а когда же тогда начал?..

– Да не помню, дядя Петя... – ответил Колька с задумчиво-серьезным видом. – Лопухи сухие с пацанами курили, – в ладонях скатаешь в трубку, и – в газетную бумагу; да окурки собирали... но мне, все же, «Прима» больше нравилась. Так, вот, один раз, когда я был у деда с бабой летом на каникулах, мой младший друг подговорил меня стащить у моего же деда папиросы. Короче, дядя Петя, стащил я у деда две пачки «Севера», залезли мы с другом в сад, – и договорились выкурить сразу каждый по пачке. Но где-то после третьей – четвертой смотрю, он свои наполовину не докуривает, и как-то на меня странно поглядывает; а у него самого зрачки расширились, и то к переносице оба сдвигаются, то – в разные стороны смотрят, один влево, другой – вправо. Я испугался, хотел встать... последнее, что помню, – земля у меня там оказалась, где небо должно быть, – вверх тормашками... Я покатился по земле, и пополз на четвереньках. Как очутился дома, – а надо было перейти через дорогу, – не помню. Сколько спал – тоже не помню. Бабушка Нюра меня даже молоком отпаивала. Но с тех пор у меня просто нет никакого желания курить, даже когда друзья закуривают и мне пред-

лагают...

– Ну, значит, что Бог ни делает, – все к лучшему... Я, вот, думаю иногда, Коля: человек – это загадка во всем... – Ломакин посмотрел влево куда-то вдаль, где за левадами на угрюмых буграх нестройными плешинами темнели заросли чилиги. – Например, человек гордится своим уникальным разумом, осознавая свое предназначение вершины эволюции... – знаешь, что такое «эволюция»? – спросил фельдшер.

Колька в ответ смущенно замотал головой; ему сначала показалось, что это, наверное, имеет отношение к «революции», – но, поскольку, был не уверен, то промолчал.

– Это как бы ход развития всей земной природы, – продолжал фельдшер. – И вот, Коля, нет на земле более умного, чем человек существа, – способного быть совестливым, любить, строить машины, создавать шедевры архитектуры и искусства; и он, человек, теперь даже умудряется летать в космос. Но давай взглянем на такого дикого зверя как, скажем, медведица: сколько в ней терпения к своим чадам! Они могут ползать по ней, полусонной, игриво хватать ее за морду, царапать лапками ее нос, уши, – но она и виду не подаст, глазом не поведет, – будет терпеливо сносить эти шаловливые выходки своих отпрысков, доставляющие ей очевидные неудобства. А, вот, людям почему-то не всегда хватает терпения, чтобы таким же образом, как неразумные дикие звери, быть терпеливым и снисходительным к детям, – в том числе своим... И вряд ли мы на данном этапе развития на-



шего сознания поймем – почему так происходит... Как сказал Гете, вложив эти слова в уста главного героя своего романа «Страдания юного Вертера»: «мы от нашей образованности потеряли облик человеческий»...

Колька, слушавший фельдшера растерянно и, в то же время, с некоторым восхищением, ответил с ноткой сожаления:

– Я слышал про этого Гете, – немец, кажется, – но мы его еще не проходили...

– У него есть такое произведение – называется «Фауст». Когда подрастешь, обязательно прочитай и не раз эту книжку, и того самого «Вертера», – в них найдешь очень много умных мыслей, которые тебе наверняка пригодятся в жизни. Говорят, Наполеон этого «Вертера» даже возил с собой во время египетского похода, – понял?.. Единственное, – Вертер в романе в итоге из-за несчастной любви покончил собой, – это, конечно, ни в коем случае не пример для подражания; просто данный случай – литературный прием, который как бы раскрывает суть творческого замысла автора, – всего лишь...

Колька засмеялся.

– Да, дядя Петя, знаю – знаю!.. я слышал, как моя по матери бабушка Нюра говорила: «Вот, мужики – дураки!.. дерутся, стреляются, вешаются из-за баб, – я не знаю ни одной бабы, чтоб из-за мужика повесилась...»

Фельдшер в ответ задумчиво улыбнулся. Но они уже подошли к дому.

Свет в обеих комнатах был выключен. Печка, до отказа засыпанная углем, горела во всю; раскаленная чугунная плита, одно кольцо которой было немного сдвинутым и через щель виднелось пламя, светилась в темноте сочным брусничным цветом, а по беленым стенам, словно на киноэкране, хаотично прыгали загадочные отсветы. Старший брат, отвернувшись, притворился сонным, хотя Колька знал, что он не спит.

Зоя и Владимир Петрович лежали во второй комнате на своей кровати, оба на правом боку, и сладко похрапывали...

– Ну, не надо их будить... давай, и ты ложись... – немного подумав, сказал шепотом Ломакин и, повернувшись, пошел домой.

Колька вышел в чулан, в приоткрытую дверь бросил на крыльцо Шарику кусок хлеба, и запер дверь на засов; в деревянном сундуке, где насыпом лежала пшеница для кур, скреблись мыши. Колька выманил из комнаты кошку, которая, враз насторожившись, прижалась к полу и, размеренно двигая хвостом из стороны в сторону, всецело увлеклась охотой. Закрыв комнатную дверь на крючок, Колька выгреб кочергой из поддувала печки избыток золы, поправил сдвинутое кольцо на плите, проверил заслонку, положил сушиться варежки, разделся, перелез через брата на свое место у стенки, и, повернувшись на правый бок, – закрыл глаза...

Перед ним сразу как бы поплыла темнота какими-то незримыми кругами, унося все дальше и дальше, и Колька

даже сам не заметил, как уснул...

## Глава 4

... Он увидел себя летом в невыносимую жару во дворе дома своего деда в станице Усть-Бузулукской; ветра нет; кажется, время остановилось, и всё будто звенит вокруг.

В безоблачном лазурном небе на недостижимой высоте где-то над вековыми дубами в районе Усть – речки перевернутой матовой лампочкой одиноко висит метеорологический зонд.

Подобно провалившемуся шпиону, обречённо застывшему в ожидании неминуемого ареста, этот заблудившийся резиновый пришелец терпеливо ждет спасительного ветра, чтобы снова вскарабкаться ввысь и лететь дальше своим загадочным маршрутом.

Колька с дедом собираются на рыбалку.

К двум стареньким велосипедам привязаны удочки и вся остальная поклажа, включая самодельную палатку, которую дед сам сшил из бязи на древнем «Зингере».

Сначала они едут по станице, невольно распугивая полусонных угрюмых кур, лениво купающихся в едкой придорожной пыли.

Через несколько минут въезжают в вековой лес на околице и дальше, – по грейдеру через заливные луга, сопровождаемые неугомонным стрёкотом разлетающихся веером кузнечиков, – мчатся наперегонки, чтобы через четверть часа

ощутить едва уловимую прохладу пока еще не видимого за деревьями Хопра.

На укатанном до синевы грейдере 65-летний дед, – метр девяносто росту, – пригнувшись, бросает Кольке дерзкий вызов, намеренно принимая комичную позу велогонщика, коленки его длинющих ног, словно шатуны паровоза, скачут выше руля, – Колька смеется, и налегает на педали, – победа!..

Вскоре за небольшим заросшим углублением ерика они привычно сворачивают вправо, в сторону брода. От этой развилки до Хопра – самая малость. Поэтому, сгорая от нетерпения, Колька изо всех сил крутит педали, – его худощавое тельце, словно челнок, все быстрее снуёт поверх рамы велика.

Вначале показывается сплошная стена кудрявых зелено-матовых ив на том берегу, откуда явственно доносятся пронзительные, но вместе с тем загадочные и мелодичные, крики иволги. Колька точно знает, что между ним и теми вербами – пока ещё не видимый Хопёр.

Еще немного усилий – и, словно по волшебству, показывается серебристая лента искрящейся на солнце воды; Колька больше не в силах сдерживать эмоций и, разрываемый восторгом, что есть мочи кричит, оглядываясь назад: «Дед – ХОПЁР!!!..»

В ответ дед довольно улыбается, и сдержанно молчит. Его самого переполняет радость, но он не подает вида.

От брода до лодочной пристани – несколько сот метров вдоль берега против течения. Извилистая песчаная дорога на фоне перелесков осин слева и сплошной стены деревьев справа – общими стараниями рисуют уютную запоминающуюся композицию, достойную кисти художника.

Дед умел понимать красоту природы.

– Колька, когда помру – вспоминай: «По этой дороге мы с дедом ездили на рыбалку...»

– Не помрешь, дед! – бодро кричит Колька в ответ; а спустя некоторое время еле слышно, как бы сам себе, говорит: «Обязательно буду помнить, дед...»

Дорога все теснее жметя к берегу. Дубы, вязы, осины, тополя, ивы, – будто пряча сокровище, старательно укрывают переливающуюся гладь реки.

Вверх от брода метров на триста – золотистая песчаная отмель (перекат). Сквозь изумрудную гущу береговых зарослей нет-нет, да и пробьется струящееся зеркало Хопра, и тогда кажется, что магическая река, пронзая своим быстрым течением обширные пойменные леса, скачет, подпрыгивая, куда-то в неведомую вдаль. Через прозрачную полутораметровую толщу реки и во всю двухсотметровую ширину русла с берега при свете солнца проглядывается янтарное песчаное дно с разбросанными тут и там подводными кустами зеленой травы.

Кольку почему-то всегда завораживала эта картина: видимый через прозрачную стремнину воды желтый донный пе-

сок... он, как загипнотизированный, мог неотрывно вглядываться в нее часами.

Тем временем они подъезжают к «дикой» пристани, где причалены несколько лодок, – перевернутых на берегу верхним или просто лежащих днищем, – в том числе их новый баркас, который дед смастерил за прошедшую зиму, – и все они привязаны цепями к одной старой иве, заботливо укрывающей их своей густой тенью.

Прибрежная отмель – метров на 20 от берега – сплошь заросла скрытой под поверхностью воды ярко-зеленой травой, среди которой, словно тропинка в лесу, лодками протоптана узкая дорожка, а кое-где на глубине 50 сантиметров видны уютные песчаные прогалины.

К безграничной радости Кольки, на этом мелководье разбросаны так обожаемые им темно-зеленые кустики «*Votomus Umbellatus*» – «Тростника Цветущего» – с лаконичными зонтиками розовых с чёрными тычинками цветов на тонком круглом высоком стебле.

Но запах!.. запах!.. – даже если вам случится одним движением сгрести в охапку все лучшие цветы мира, этот исплинский букет (или каждый его росток в отдельности) всё равно проиграет в сравнении со свежим утонченным ароматом невзрачных на вид лепестков этого доисторического растения.

Пока дед громыхает веслом и удочками, собирает в траве припрятанные с прошлой рыбалки камни-грузила для се-

тей, – Колька, сидя на носу приспущенного в воду баркаса, свешивается за борт и с отрешенной восторженностью вглядывается в сказочный подводный мир...

Волшебный ярко – желтый цвет подводных песчаных лужаек плавно переходит в густую синеву, зарождающуюся по краям обрамляющей их изумрудной травы: роголистника, кувшинок, осоки, стрелолиста, рогоза; в этих прогалинах, будто в домашнем аквариуме, беззаботно и хаотично плавают многочисленные мальки, в которых, однако, уже угадываются будущие рыбацкие трофеи.

Если сделать резкое движение, то они, как по команде, бросаются врассыпную; но через две-три секунды, забыв обиду, вновь собираются вместе и с наивным любопытством таратают на Вас свои выпуклые глазища.

Первые красавицы в этом подводном дворе – мальки плотвы (по-здешнему: «серушки»): четко выраженная серебристая с чернью чешуя, темно-красные живые плавники, большие алые глаза, выразительный хвост. А вот, пугливо озираясь вокруг, из травы выплывает потешный лещик величиною с пятак, которому, однако, уже присуща природная мудрость: он предпочитает держаться возле дна, и более доверяет спасительной траве, нежели непредсказуемому открытому пространству. Речной стилига забияка – окунёк в щеголеватом темно-зеленом полосатом костюме с независимым и бесстрашным видом энергично снуёт туда-сюда в толпе других своих разночинных сверстников: язьков, линей,



голавликов, стерлядок, «коней» – подустов, ершей, щук, жерехов, пескарей, сомов, – и Бог весть еще каких обитателей этого сказочного подводного царства.

Кое-где на донном песке видны узкие сплошные борозды, оставленные неутомимыми подводными странниками – двустворчатыми ракушками, путешествующими со скоростью легендарных грузинских рачинцев. Под тем берегом, где глубже, близ темно-зеленой стены из осоки иной раз слышится резкий невероятной силы грохот: кто-то из безжалостных хищников исполинского размера, – сом, судак, или щука, – настырно гоняется за добычей.

– От-т, дурила вывернул!!!.. – одной фразой всякий раз комментирует дед это громкое в буквальном смысле слова событие. И впрямь, такой тяжёлый раскатистый звук может породить разве только что монстр – это все равно, как если бы с высоты нескольких метров столкнуть в воду каменную глыбу...

Наконец, всё собрано, велосипеды спрятаны в высоченной густой траве. Громяхнув напоследок цепью, дед усаживается в баркас, широко расставив свои огромные угловатые колени. Колька поворачивается на передней скамейке лицом по ходу и слышит за спиной очаровательный мягкий нисходящий хруст от упертого в песок весла – они выходят на чистую воду, и неспешно плывут против быстрого течения вдоль густой прибрежной травы.

Узким длинным веслом дед неторопливо гребёт вдоль ле-

вого борта, иногда, где мелко, отталкиваясь от дна. Колька радостно черпает ладошкой из Хопра его пресную воду и умывает запотевшее лицо.

– Дед, а почему Хопер так называется: «Хопер»? – повернувшись, с интересом спрашивает Колька деда, обдумывающего между тем, где им разбить лагерь.

– Да, бог его знает... «Хопер» и «Хопер», – всегда так было. Вроде, говорят, был когда-то лесной дед, типа лешего, – «Хопер» прозвали, – от него и пошло...

Колька недоверчиво засмеялся.

– Ну, это, дед, слишком просто... ты, вот, погляди, – Колька в воздухе сделал широкий жест, показывая вниз по течению, – вода в Хопре течет очень быстро, вся в таких маленьких водоворотиках, – а если посмотреть с берега, то как будто прыгает и скачет, – так же?.. Один раз я в библиотеке ради интереса открыл словарь английского языка, и случайно увидел слово: «hopper». А знаешь, дед, как оно переводится? – Колька вопросительно посмотрел на деда, продолжающего грести, и временами одной рукой отмахивающегося от назойливых оводов.

– Да, откель же я знаю, что там по – англиски?..

– А, переводится это на русский язык: «прыгун», «скачущий», – точно, как Хопер!

Колька опять обвел рукой речную гладь, и замер в гордой паузе с надеждой на похвалу.

– Так, а к чему тут английский язык, коли Хопер, – у нас,

в России? – недоверчиво спросил дед внука.

– Так, и Дон – у нас, дед! но это – от персидского языка слово, и означает: «вода», – блеснул Колька эрудицией. – Я в журнале «Наука и жизнь» прочитал.

– Да, черт его знает, – «персидское», «английское»... нехай, хоть китайское. «Хопер» – и все тут.

Будто из ниоткуда объявляются оводы и, прервав их дискуссию, с угрожающим завыванием начинают дерзко кружить вокруг; дикая боль внезапно пронзает тщедушную Колькину шею – одно из этих коварных насекомых шилом вонзило в неё своё мерзкое жало.

– А-а-а!!!.. дед, укусили!!!.. – не столько от боли, сколько от страха начинает орать Колька благим матом.

– У, ... твою мать, – неженка!.. – бросив весло, с добродушным недовольством бурчит дед; протягивая свои натруженные руки-крюки, которыми он в молодости гнул подковы, начинает бегло осматривать «пораженную» шею внука. Дед старается быть осторожным, но его исполинские узловатые пальцы, словно металлические клещи, причиняют Кольке больше неудобства, нежели острые укусы нахальных оводов.

– Всё, дед, прошло!.. – благоразумно спешит он заверить деда, после чего тот завершает процесс лечения своим излюбленным рецептом от всех детских болячек: «Попался бы ты мне в сорок втором под Сталинградом, – я бы тебя научил Родину любить!..»

Чуть ниже Усть – речки они переправляются на левый берег, где решают порыбачить с баркаса в тихой заводи, покрытой глянцевыми темно – зелеными упругими листьями кувшинок и их ярко- желтыми цветами, источающими незабываемо – свежий запах.

Там, где заводь граничит с быстрым течением, неустанно крутятся миниатюрные водовороты, а редкие торчащие стебли куги, дрожа от напора воды и издавая при этом какие-то странные зудящие звуки, равномерно покачиваются из стороны в сторону. Вокруг них назойливо снуют сине-зеленые бархатные стрекозы, пытаясь, словно ковбой – мустанга, оседлать эти своенравные тростинки.

Веревками, прикрепленными к скамейкам, дед с Колькой привязываются к кусту осоки, и начинают разматывать удочки. В ту же минуту несколькими метрами ниже из прибрежной травы вылез уж и, презрительно извиваясь всем телом, натужно поплыл к противоположному берегу, словно показывая всем своим видом, что не желает иметь с рыбаками ничего общего. Прямо под баркасом беспечно ходят изящные красноперки.

Ещё дальше, на границе травы и открытой воды, сопровождаемый веером брызг чудовищный грохот вновь напомнил о повсеместном присутствии в зеленоватой хоперской воде исполинских хищников...

...Колька открыл глаза... Мать кочергой сдвигала на чугунной плите кольца после засыпки в печку угля.

– Вставайте, в школу собирайтесь!..

## Глава 5

Однако, нам уже давно пора вернуться на поляну Панского леса, где мы оставили агронома Владимира Петровича наедине с Семеном Михальчуком.

– Уж больно надоел ты, Петрович, – продолжал Семен, – своими проверками: как я там пашу, да по норме ли заглубляю плуг... ты ж все ходил мерил спичечным коробком, – да укорял меня, что я ношусь на тракторе, как угорелый... понятно, тебе надо по правилам. А я чем глубже пашу – тем, естественно, медленнее, – и тем меньше заработаю. И, вот, ты как-то подъезжаешь ко мне в поле на «Москвиче», – а я уже гаечный ключ на «36» приготовил... думаю, нагнешься к плугу... да смотрю – у тебя в машине сидит еще твоя жена с маленьким дитём... в общем, прости меня, Петрович... эх!.. – Михальчук закрутил головой в разные стороны, словно уворачивался от пчелы или пытался отыскать то, в чем в данный момент остро нуждался. – На мне, Петрович, ведь, и так одна смерть имеется... да, нет – успокоил Семен агронома, – это было еще во время войны, когда я попал в плен к немцам...

– Ну-ка, – подожди, Семен, – я сейчас...

Агроном быстрым шагом направился к тому месту, где сидел. Там он сложил в сетку-авоську ту самую бутылку водки, два стакана, какую-то немудреную закуску, и вернулся к Се-

мену. Они сели на лежащую корягу, по которой сновали вездесущие муравьи. Агроном налил до половины оба стакана, протянул один Семену.

– Ну, давай, – чтоб разговор лучше клеился. – Чокнувшись, они выпили. – Ну, так, что ты там хотел рассказать, Семен? – закусывая пирожком с картошкой и толстым куском сала с прожилками, напомнил агроном.

– Да, «что-что»... – загубил я поневоле одну душу, – хоть и не нашу... – Михальчук, пошарив по карманам, достал папиросу. – Дай спичек...

Закурили. Минуту сидели молча.

– Ну, слушай!.. – сказал Семен, и, глядя под ноги, опираясь локтями на колени, стал рассказывать свою историю.

В августе 1941г. в лагере на территории Германии, где содержались советские военнопленные, несколько десятков физически крепких узников построили в одну шеренгу. Немецкие землевладельцы разбирали их по своим владениям для использования в качестве дармовой рабочей силы.

– Du bist Kolchosbauer? – ткнул пальцем в Семена гитлеровский офицер.

– Колхозник, колхозник... – с готовностью закивал Михальчук и, суетливо засунув пилотку в карман, показал свои трудовые ладони.

– Kommunist?.. – офицер, слегка наклонив голову на бок, пристально посмотрел Семену в глаза.

– Найд, найд, – ich bin беспартийный!!!.. – чуть ли не за-

кричал Михальчук с ноткой ужаса в голосе, будто пациент сельской амбулатории, у которого напрасно подозревали холеру...

В усадьбе этого майора Семену вменили в обязанность ухаживать за коровами, лошадьми, птицей, а также выполнять по хозяйству другую повседневную работу; все это ему было привычно и знакомо. Переодели в обычную одежду, сносно кормили. «Надо же, – удивлялся Семен, – у ихних коров – тоже 2 рога, как и у наших; петухи так же бегают за курами, а те несут такие же белые яйца...»

Так, из огня да в полымя, Семен, бывший советский строитель коммунизма, – невольно стал трудиться на благо германского империализма.

Майор каждый день куда-то уезжал, но к вечеру, как правило, возвращался. Семен считал его обычным тыловым приспособленцем, – из тех, которые любят потом рассказывать смазливый фройляйнам, как он на восточном фронте в танке горел, да через ствол вылезил.

С офицером жила его престарелая мать. Это была тощая, дряхлая и капризная, как все пенсионеры, старуха лет 90 от роду. Лишь только на крыльце, словно призрак, появлялся её горбатый абрис, все домочадцы с печатью ужаса на лицах прятались кто куда, будто зеленые новобранцы – от ротного старшины – самодура. Даже сам майор, став по стойке «смирно», порой что-то выговаривал ей в корректной, но твердой форме – типа: «Идите, наслаждайтесь отдыхом,



mutti !.. я сам во всём разберусь!..»

Наступила зима. Выпал снег. Офицер исполнил очередной каприз своей mutti: привёз установленное на лыжи металлическое кресло с обивкой из дуба, и объяснил Семену, что он должен быть готовым по первому же требованию его матушки, усадив её на этот самокат, везти туда, куда она пожелает.

– Яволь! – бодро ответил наш герой, и, с интересом осмотрев свое новое орудие труда, стал готовиться к первому выезду.

Однажды в ясный солнечный день, когда Семен чистил коровник, его позвали; возле самоката стояла тепло одетая старуха, держа в одной руке плед, а второй опираясь на костыль. Он смел с сиденья снег, усадил её в жесткое кресло, укрыл пледом, пристегнул для надежности толстым кожаным ремнем, – и вырулил за усадьбу.

На бескрайнем заснеженном просторе графиня жестом своей немощной руки изредка корректировала маршрут; затем, когда дорога пошла под уклон, в какой-то момент показала «прямо», – в сторону видневшегося далеко впереди какого-то леса, – и окончательно утомилась (может быть – даже заснула). Семена терзали догадки: куда и зачем они едут, чего хочет от него своенравная немецкая старуха?.. Но потом его осенила догадка: графиня чувствовала, что дни её сочтены, и вряд ли она доживет до весны (как в воду глядела!) – а поэтому напоследок ей захотелось взглянуть на до-

рогие её арийскому сердцу места, с которыми были связаны воспоминания давно прошедшей молодости. Стариков всегда тянет в такие места...

Впереди на полтора-два километра простирался пологий спуск.

Послушный самокат, поднимая мягкую снежную пыль, с легким скрипом живо скользил вниз. Поэтому Семен, чтоб не тратить зря силы, – встал сзади на полозья, изредка подруливая одной ногой. Все яснее проглядывался лес, в ушах приятно свистел ветерок, укрытая пледом графиня молчала о своём.

Семен даже невольно отрешился от действительности, с тоской вспоминая свое детство, семью, родные края. Глядя на ясное небо, залитый солнцем заснеженный простор, периодически вслушиваясь в тишину, наблюдая за пролетающими цыганским табором чирикающими воробьями, поднимающимися со свистом куропатками, Семен даже начинал думать: «Почти, как у нас... Война... какая, к черту, война?... может быть, никакой войны вовсе и нет, и она мне только кажется?..»

...Вдруг он обнаружил, что самокат, будто пытающийся сбросить всадника необъезженный жеребец, вырвался из-под его контроля и незаметно набрал слишком высокую скорость; теперь скорее Семен был во власти этого стула на полозьях, – чем наоборот.

Пока он тревожно крутил головой и лихорадочно думал,

как обуздать самокат, тот со звоном вылетел на скованный льдом пруд, где прямо по курсу зловеще чернела огромная полынья...

Полный ужаса, Семен инстинктивно соскочил с полозьев; его тут же сбило с ног, закрутило волчком по льду, и плашмя понесло в одну сторону, а его шапка – полетела в другую; ладони местами поцарапались до крови.

В дальнейшей судьбе несчастной графини он уже не мог принять никакого участия: ему оставалось лишь безучастно наблюдать, как неуправляемый самокат с пристегнутой к нему безмолвной старухой с разгону плюхнулся в ледяную воду, затем, словно легендарный «Титаник», клюнул носом, – и, на мгновение задержавшись в таком положении, быстро пошел ко дну. Следом всплыла донная муть... буркнули несколько пузырей... зловещая тишина...

Ошеломленный Семен поднял шапку, отряхнул ее несколькими ударами об колено, и минут тридцать угрюмо стоял на краю полыньи, бездумно глядя в тяжёлую ледяную воду.

Казалось, сейчас он обернется, – и вновь увидит злосчастный самокат с вверенной ему престарелой женщиной, которая беззлобным жестом дряхлой руки будет торопить его в обратный путь: «Los, Los!..»

Ему никак не верилось, что он, – рядовой советский военнопленный, – в самом сердце Германии по своей оплошности утопил родную мать гитлеровского офицера...

И что теперь? – Пристрелит?.. Затравит собаками?.. Повесит в конюшне?.. Привязав на шею камень, утопит в той же полынье?.. – любой из этих неутешительных вариантов наш бедолага готов был принять как должное.

Может, – бежать?.. Но без документов, не зная языка, не зная, что тебя уже разыскивают... – нет, это глупо, бесперспективно, и равносильно самоубийству.

– А – а!.. – Семен крепко выругался, обреченно рубанул рукой студёный воздух. – Будь что будет!..

Собравшись с духом, он по оставленному полозьями следу с угрюмым равнодушием побрел в усадьбу.

Однако, в одночасье осиротевший гитлеровский офицер повел себя по отношению к душегубу – пленному так, как будто бы ничего и не случилось. После похорон утопленницы Семен продолжал работать у него до той поры, пока в 1945г. не был освобожден из плена советскими войсками, и после фильтрации благополучно вернулся на родину...

– Вот, такие дела, Петрович!.. – Семен затушил об корягу окурок и отбросил его далеко в сторону. – Мало кто знает про эту мою эпопею, – да, вот, я забыть не могу... – Семён жестом попросил у агронома еще одну папиросу из пачки, которую Владимир Петрович все это время терзал в руках; дунул внутрь бумажного мундштука папиросы, сдавил его по бокам с одной стороны, прикусив с другой, – но прикуривать не стал. Минуту – другую сидели молча.

– А ты знаешь, Семен, я тебе тоже расскажу один случай, –

продолжил разговор Владимир Петрович, – я от тещи своей слышал, – ну, они с тестем живут в хуторе Гремячем Рябовского сельсовета, это на границе с Ростовской областью, – 120 километров отсюда...

– Да, знаю – где-то за Родничками там ...

– Во-во!.. – Так, вот, тесть – то мой в плену у немцев был с самого начала войны, – а теща там, в Гремячем, все время прожила, на полях в колхозе работала... Там, кстати, от Гремячего до Вешенской – 40 километров, – так в войну в хуторе, говорит, окна дребезжали от пушечных выстрелов, – на той же стороне Дона уже немцы да итальянцы стояли. Так, вот, слушай, – что там было – то... – и агроном поведал Семену историю, услышанную от тещи и подтвержденную другими жителями х. Гремячий.

## Глава 6

В начале 1943 года через степной хутор Гремячий в сторону Вёшенской на фронт двигались крытые брезентом «Катюши», шли пешком подразделения личного состава, иногда даже пролетали самолеты.

После того, как немецкая 6-я армия капитулировала под Сталинградом, с февраля 1943г. со стороны Вёшек через Гремячий обратным курсом потянулись колонны военнопленных. Они шли морально угнетенные, измученные 40-километровым маршем через изрезанные балками заснеженные степи, и являли собой жалкое зрелище. Но им предстояла ещё более изнурительная 70-километровая прогулка: через х. Рябовский – на станцию Филоново.

Одна из таких колонн остановилась в Гремячем на короткий привал.

«Итальянцы!.. Итальянцы!..» – пронеслась новость среди хуторян, которые со смешанными чувствами вглядывались в заочневшие лица уроженцев солнечного средиземноморья.

Среди пленных заметным болезненным состоянием выделялся один молодой солдат, – среднего роста, худой как жердь, с живыми темными глазами поверх огромного горбатого носа, чем-то смахивавший на цыгана; он сидел на снегу, как бы полулежа на коленках, оперевшись одной рукой на

землю, и растерянно смотрел по сторонам. Он явно не мог идти дальше. Старший конвоя, – неопределенного возраста исхудавший старший лейтенант в белом затертом полушубке и потрепанной ушанке со звездой, с красным небритым лицом и перекинутой через плечо сумкой-планшетом, – спросил у собравшихся женщин и стариков, есть ли добровольцы взять этого доходягу к себе домой на излечение.

И что же? – чисто из человеческого, христианского сострадания на это согласилась одинокая пожилая казачка Фекла.

Итальянец, не веря своему счастью, – откуда взялись силы, – как-то подполз к ней, и прилюдно стал целовать спасительнице ее огрубевшие от непосильного труда руки. Причем, продолжал это делать до тех пор, пока его не оттащили, едва не оторвав широченный воротник его потрёпанной шинели.

– Грация!.. Грация!.. Грация!.. – как заведённый продолжал твердить он на непонятном языке, не обращая внимания на свой испорченный прикид...

К весне советская колхозница Фекла поставила на ноги казалось бы безнадежно захиревшего посланца Муссолини. Она же и нарекла его Филей – скорее всего, из-за созвучности с его католическим именем.

Предметно судьбой итальянца как военнопленного в то время никто не занимался, – был недосуг, шла война. Казалось, про него просто забыли. Но, тем не менее, советские

власти из виду его не упустили: когда пленный окреп, ему порекомендовали без промедлений приобщиться к труду.

Выяснилось, что на фронте новоиспечённый колхозник Филя колесил по задонским буграм на армейском тыловом грузовике, – это и определило род его занятий на новом колхозном поприще.

В те годы в Гремячем, как и в других хуторах, централизованной подачи электричества не было. Ток поступал в строго определённое время, и на наиболее важные объекты, – от дизель/генератора; а проще говоря – от прикрученного к станине обыкновенного тракторного двигателя, к которому был подсоединен генератор.

«Движок» – так называли эти немудреные устройства по всей России. Именно из тех времён дошла до нас расхожая хохма от любителей колхозного кинопроката: «Кина не будет – хлопцы в движок насс...и»

Вот на таком движке и стал работать пленный итальянец. Бывший до этого, – от радиатора да приводного шкива колёчатого вала, – по уши в мазуте, через неделю мотор выглядел как новенький; в радиусе двух метров от него на полу все было присыпано желтым песком. На работу Филя приходил загодя, уходил, когда начальство само его чуть не выгоняло. У него всегда был запас ремней и всего прочего, чтобы не было внезапного простоя. За все время его работу к нему не было никаких нареканий. Он же помогал ремонтировать всю колхозную технику – от косилок до тракторов. Кроме то-



го, у Фили, как оказалось, был покладистый характер; со всеми он был доброжелательным и приветливым, в короткий срок освоил в нужных пределах русский язык, обогащённый местным казачьим диалектом с его уникальными нелитературными оборотами, – и постепенно стал превращаться во всеобщего любимца. Он даже выучил наизусть первый куплет казачьей песни «При лужке, лужке...»

Так подданный капиталистической Италии стал трудиться в СССР на благо строительства коммунизма.

У Фили были диковинные наручные часы с огромным циферблатом и множеством стрелок – предмет чёрной зависти оставшихся в хуторе по броне мужчин: механизаторов, членов местного отряда самообороны и т.п. Кроме того, в потайном кармане пиджака он носил ещё одну невиданную штучковину: чернильную ручку – «самописку».

К Фекле он относился с особым трепетом; всячески оберегал её от тяжёлого домашнего труда, искренне заверял, что после войны регулярно будет присылать ей из Италии посылки, пригласит к себе в гости, оплатив проезд, свозит её на Средиземное море, и вообще – никогда не забудет...

И вот, летом 1945г., вскоре после капитуляции Германии, Филе сообщили, что он должен собираться в дорогу – пешком в х. Рябовский для последующей отправки в родную Италию.

Он, только начинающий жить потомок древних римлян, и она, – преклонных лет донская казачка Фекла, спасшая его

от верной смерти, – обнялись на прощание, у обоих в глазах стояли слезы...

Возле колхозной конторы Филя, держа в руках узелок с нехитрым пропитанием, который ему собрала Фекла, тепло распрощался с немногочисленными провожающими и, крикнув напоследок: «До свиданья!.. я – домой!.. Чао!..» – под конвоем члена местного отряда самообороны Артема, вооруженного автоматом «ППШ», – постоянно оборачиваясь, с нескрываемым оптимизмом двинулся в путь.

– Давай, Филя, приезжай к нам в Гремячий!.. – кричали ему во след колхозники.

– Обязательна!.. – раздалось в ответ...

... Часа через два конвоир Артём вернулся в хутор один. Лицо его было сумрачным; на запястье левой руки – филины часы с огромным циферблатом и множеством стрелок, в нагрудном кармане пиджака одиноко торчала ручка – самописки...

На недоумевающие вопросы колхозников новый владелец заморских часов пояснил, что он лично застрелил итальянца Филю в овраге за хутором – «при попытке к бегству»... его труп уже повезли в Рябовку.

## Глава 7.

– Тоже невеселая история... пустили в расход италяш-ку... пусть первые не лезут!.. – сказал задумчиво как бы сам себе Семен.

– Не надо было бежать, – гляди, тоже живой остался бы... в таких случаях, сам знаешь, никто сюсюкаться не будет! – ответил агроном тоном, будто держал речь на партсобрании.

Михальчук усмехнулся, как учитель математики смотрит на старшеклассника, который забыл таблицу умножения.

– Петрович, ну ты же вроде как умный и грамотный человек, с высшим образованием, – а такое говоришь, как дитё, – ей, богу!.. ну, ты сам посуди: какой резон ему был куда-то бежать, – если его и так домой отправляли?!.. И куда бы он побежал – пленный?.. Я сам, как ты знаешь, был в плену в Германии, – куда ты и как побежишь?.. Если бы эта его Италия... – Семен начертил палкой Европу, словно горбатую дряхлую старуху, склонившуюся своим носом к Гибралтару, вывел Каспийское и Черное моря, а также как мог, процарапал Дон и Волгу. – Если бы его Италия была на том берегу Дона, – Семен ткнул палкой туда, где могла быть в этом случае Италия, – был бы какой-то смысл. Да и через Европу – глупая затея, – там войсками нашими все напичкано было. Куда? – через Кавказский хребет и дальше через Турцию?.. он тебе что, – Суворов, – снежные хребты преодолевать?..

Не смеши, Петрович...

– Ну, Семён, – он же какой – ни какой, – а солдат, обученный, – мог и добраться...

– Да, хватит тебе, Петрович, ей – Богу!.. Я в могилу этой версии о побеге сейчас же вобью вот этот осиновый кол! – Семен поднял с земли валявшуюся рядом с корягой осиновую палку. – Итальянский солдат тоже прекрасно знает: в степи от автоматной очереди из «ППШ» далеко не убежишь, – будь ты хоть трижды проворней кенгуру. А если кто утверждает обратное – да, не вопрос, Петрович! – давай в той же балке проведём эксперимент: стрелять буду я... Филя – что, был сумасшедший?..

– Да, нет, конечно, – не дурак, – раз на движке работал, обслуживал... масло, там, менял...

– В голове, Петрович, масло надо иметь...

Агроном безобидно засмеялся.

– Ну, ты – шутник, Семён. Хотя, если разобраться, – и правда: вряд ли убежишь.

– Не похоже, чтоб это была задумка конвоира, – продолжал Семен. – Он бы сам ни за что не решился. Сам знаешь, такая самодеятельность, – без ведома НКВД застрелить вверенного пленного, – вряд ли сошла бы ему с рук. Могли самого хлопнуть за невыполнение задания и самоуправство.

– Так ты считаешь, с ним просто не захотели возиться?

– А что – не так?.. смотри: его одного доставь в Рябовку, потом куда там... – в Филоново? – в Филоново; оттуда –

в Сталинград... А в Сталинграде – надо думать, что с ним дальше делать: он же пленный был, – но, в то же время, всю войну в лагере каком-то, ведь, не содержался, – как бы на вольных хлебах, на свободе. Поэтому, скорее всего, решили, что пристрелить – да и все дела, никакой тебе с ним мороки.

Агроном, конечно, все это понимал, но как член партии не мог открыто соглашаться с трактористом по такому щекотливому, с политическим оттенком вопросу, – мало ли чего...

А Михальчук продолжал:

– Ты ж гляди: за... – сколько там?.. – Семен начал считать в уме Филин срок в Гремячем: за два с лишним года этот итальянский пленный вплотную притерся к нашим людям. Другими словами, наши колхозники...

– Да, тихо, Семен!.. что ты говоришь?!.. – агроном тревожно закрутил головой, как бы опасаясь, что кто-то их подслушивает. – Нас же с тобой пересажают!..

– Да никто нас уже за эти слова не «пересажают», – зауспокойся, Петрович!.. ты, вот, видишь, и сейчас даже «затюканный», – а времена-то уже другие, слава Богу!.. Еще при Хрущеве-кукурузнике стало попроще... Так, вот, – продолжал Семен, – на чем ты там меня перебил?.. – а!.. – наши колхозники тех времен через Филю могли как-то войти в контакт с западным миром. А любой такой контакт для Советской власти, – Семен понизил голос, перешел на шепот, взял агронома за локоть, и сам подозрительно огляделся вокруг, – как ни крути, приближал бы её к её же неминуемой гибели, – фер-

штеен?.. – Семен подмигнул одним глазом, и поднял вверх указательный палец. – Ты сам раскинь мозгами: после войны заграничная переписка колхозников из Сталинградской области – с бывшим военнопленным из страны – союзники Гитлера... потом, Филя же своими глазами видел, куда коллективизация довела нашу деревню; он же все это рассказал бы там, у себя. И чтоб работавшие за палочки гремаченские колхозники, купавшихся только в мутном пруду, – поехали в капиталистическую Италию плескаться в Средиземном море?.. Петрович, да кто бы этого допустил?.. Тот Филя был заранее обречен, просто он об этом не знал. Он был обречен на погибель ещё тогда, когда был возвращён к жизни этой Феклой... Да и вообще... «товарищи» в те года и в подобных случаях, – не хуже меня знаешь, – всегда предпочитали перестраховаться – как бы чего не вышло... А в конце – концов, Филя был солдатом вражеской армии, который пришел к нам с оружием в руках и с целью уничтожить СССР, – вот тебе и весь сказ!.. Поделом. С врагами иначе – нельзя.

– Так... осталось у нас тут чего или нет?.. – агроном заботливо пошарил рукой возле коряги, вытащил недопитую бутылку. – О! – еще грамм по 50 есть... Ну, – давай!.. – выпили. На поляне продолжалось шумное веселье, про них, казалось, даже забыли.

– Семен, – продолжил агроном, закусывая, – а что ты там про «Хрущева-кукурузника» говоришь?.. Не одобряешь?..

– Подожди, – дай, – прожую... Да, чего одобрять, – замутил он своей кукурузой, – не помнишь, что ли?.. – с некоторой неприязнью ответил Михальчук, вытираясь тыльной стороной ладони. – Жрать уже людям было нечего, – что, не так?..

– Да, так-то оно – так, – да не совсем... я, так, наоборот, считаю, что Хрущеву за кукурузу в каждом колхозе надо памятники ставить!..

– Ой, – не смейся, Петрович!.. – Семен замотал головой, будто отбивался от назойливых ос.

– Да ты сам немного мозгами покумекай!.. – зашелся агроном. – Привыкли хаять, не думая: «дурак»... «кукуруза за полярным кругом»... Забыли, елки – палки, как до этой самой кукурузы каждую зиму скотина благим матом выла от голода – гнилую солому на корм ей с крыш коровников порой снимали!.. Он кукурузой спас Союз от краха. Кукуруза дает много качественного зерна, хоть для людей, хоть на фураж, – раз; как техническая культура – два; неприхотливая и урожайность отличная – три; при этом попутно объемная и питательная зеленая масса на корм скоту – четыре!.. Если бы не силос, – что бы с нашей скотиной стало?.. Поэтому, тут не Хрущев дурак, а те, кто его дураком за это называют. Он в этом вопросе делал все правильно!.. – агроном решительно махнул рукой. – Я если за что и осудил был тут Хрущева, так это не за то, что он везде кукурузу внедрял, – а за то, что он её внедрял недостаточно активно, и слишком мало требо-

вал за это с партийцев... Ладно, Семен, – нам, вон, махают уже, – пошли!.. – и агроном с трактористом, собрав остатки трапезы на коряге, пошли воссоединяться с гуляющим коллективом.



## Глава 8

Много воды утекло с тех пор, и много дорог изъезжено. Спустя годы Владимир Петрович остался верен себе, и не гнушался порой выпить тройного одеколона. Зоя несколько раз порывалась с ним развестись, но все не решалась, жалела его, что он без нее пропадет. На 55-м году жизни Владимир Петрович умер в больнице от рака желудка. Колька, став взрослым, сдержал данное в 10-летнем возрасте Ломакину обещание, и в части спиртного был весьма воздержан; кроме этого, так и не стал курильщиком.

Что касается Зои, и после смерти мужа она не расставалась со своей любовью далекой юности – кино. В присутствии домашних иногда картинно падала на диван и, закрыв глаза, стонала: «Да, что же это вы такое говорите, – а?!.. воды... воды...» Будучи раз этому свидетелем, Колька (тогда уже Николай Владимирович) не выдержал, и в сердцах, но беззлобно, ответил: «Мать, артистка ты – никудышняя...» Зоя затаила творческую обиду. И это сказали ей?..

Она пережила мужа на 18 лет.

Вы хотите сказать, – неужели, она отошла в мир иной, не попытавшись что-нибудь сыграть на прощание?.. – Конечно, нет. Устраивайтесь поудобнее.

За 2 дня до своей кончины угасающая на глазах Зоя, которая к тому времени уже две недели не вставала с постели,

сказала дочери (она жила с ней и присматривала):

– Плохая что-то я совсем... позвони Кольке, пусть завтра обязательно приедет... я ему что-то хочу сказать... как придет, посади его вот тут, на стуле, – прямо возле кровати, чтобы я его хорошо видела, – а сама на минутку отойди в другую комнату... «Мне еще никто такого не говорил, что я – плохая артистка... посмотрим – посмотрим... что ты в этом понимаешь?..» – думала Зоя, глядя в потолок.

На другой день Николай приехал со своей женой. Лена (дочка), как и договаривались, посадила их у изголовья больной матери, которая лежала на спине, накрытая с руками и по шею чистым разноцветным верблюжьим одеялом. Зоя не разговаривала, только поворачивала головой на приподнятой подушке. В какой – то момент Лена тактично отошла, вроде как создавая тем самым интимный момент; Николай понял, что это они так условились с матерью.

Зоя, конечно, узнала сына, но все время почему-то молчала; Николай от этого недоумевал, вопросительно поглядывая на Лену, которая, отвернувшись и сложив руки на груди, ходила туда-сюда в соседней комнате.

И вдруг в какой-то момент Николай почувствовал взгляд матери, – его чуть не передернуло, – он увидел то, чего никогда в жизни ему не приходилось видеть: Зоя, повернув слегка голову, словно гипнотизируя, пристально смотрела прямо ему в глаза своими неповторимыми зелеными глазами в коричневую крапинку, излучающими удивительный, неотрази-

мый поток кажущейся любви и ласки... ее взор как бы тянул к себе, приказывая: «Придвинься ко мне поближе, обними меня на прощание...» Колька едва не дрогнул... однако, чем дольше в его глаза смотрели глаза матери, тем больше видел он в них фальши. Ему вдруг пришло озарение... озарение, от которого ему стало обидно и больно. В эту секунду он понял, что мать смотрит на него так не потому, что очень его любит и хочет по-человечески, по-матерински обняться с ним на прощание, – но лишь для того, чтобы он поддался на соблазн ее удивительных глаз, которые, как она считала, своей игрой никогда в жизни ее не подводили; и она умерла бы тогда с блаженной мыслью: «А ты, глупенький, сказал, что я – плохая артистка...»

Николай с едва заметной горестной улыбкой смотрел на мать, и, с трудом сдерживая комок в горле, мысленно говорил ей: «Так, значит, ты позвала меня для этого?..»

В голове Николая промелькнула было гуманная мысль: а, может, подыграть?.. Но, в тот же миг, какой-то голос свыше его одернул, что этого не следует делать ни в коем случае, ибо такое противоречило бы Божественным заповедям, было бы чем-то сродни лицемерному потаканию дьяволу, – что, в свою очередь, для готовящейся отойти в небеса души могло бы навредить перед лицом Бога...

– Мама! – нарушив затянувшееся молчание, нежным голосом обратилась к Зое дочь, – Так, вот же, – Коля приехал, – ты же говорила, что хочешь ему что-то сказать...

Зоя, тут же сбросив за ненадобностью маску любви и ласки, в ответ не сказала ни слова, но суровым взглядом попросила пить. Лена приподняла ей голову, и дала воды. Зоя сделал несколько глотков, с обиженным видом отвернулась от Николая, и, глядя в потолок, тем самым дала знать: все, аудиенция окончена... Николай и его жена попрощались с Зоей, и вышли на улицу. Провожавшая их Лена с недоумением выдавила: «Коля, она мне говорила, что хочет тебе что-то сказать...»

Через сутки Лена позвонила Николаю, и сообщила, что их мать тихо умерла.

Да, чуть не забыл. Еще когда Николаю было 23 года, он случайно оказался на гастролях какого-то экстрасенса, ставшего различные психологические опыты. В зале собралось более 300 человек публики разных возрастов и профессий, примерно поровну мужчин и женщин, Николай сидел где-то в середине. Перед началом представления экстрасенс со сцены внимательно оглядел зал, и сказал в микрофон: «Молодой человек, я прошу Вас покинуть зал на время моего выступления... да – да, – я Вас имею ввиду, – в белой сорочке с коротким рукавом и галстук...» – к великому удивлению Кольки, экстрасенс показал рукой именно на него.